


Джером Д.

# СЭЛИНДЖЕР

## Над пропастью во ржи

Над пропастью во ржи

повесть

*Джером Д.*
# СЭЛИНДЖЕР

# *Над пропастью во ржи*

*повесть*




Москва • 2004

УДК 821.111(73)
ББК 84 (7Сое)
С97

Серия «Классическая и современная проза»
основана в 2000 году

*Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой*
*Серийное оформление А. Кудрявцева*
*Компьютерный дизайн Ж. Якушевой*

Подписано в печать 16.07.04. Формат 70х90/32
Усл. печ. л. 8,7. Тираж 10000 экз. Заказ № 4677.

**Сэлинджер Д.Д.**

С97 Над пропастью во ржи: Повесть / Д.Д. Сэлинджер; Пер. с англ. Р. Райт-Ковалевой. — М.: ООО «Издательство АСТ»: ОАО «ЛЮКС», 2004. — 237, [3] с. — (Классическая и современная проза).

ISBN 5-17-024127-5 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-9660-0134-0 (ОАО «ЛЮКС»)

Это книга, без которой американская проза не стала бы такой, какой стала, а понятие «молодежная проза», наверное, просто не существовало бы.

Это книга, считавшаяся буквально «литературной Библией» для многих поколений людей, не принявших уютный конформизм «общества потребления».

Это книга, которая сейчас может показаться в чем-то даже наивной, но когда-то не просто ставшая сенсацией и вызвавшая бурю разноречивых эмоций, но и ОФИЦИАЛЬНО ЗАПРЕЩЕННАЯ ЦЕНЗУРОЙ.

Это великая и нестареющая книга. Это — «Над пропастью во ржи». Без комментариев...

УДК 821.111(73)
ББК 84 (7Сое)

# 1

Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, — словом, всю эту дэвидкопперфилдовскую муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом копаться. Во-первых, скучно, а во-вторых, у моих предков, наверно, случилось бы по два инфаркта на брата, если б я стал болтать про их личные дела. Они этого терпеть не могут, особенно отец. Вообще-то они люди славные, я ничего не говорю, но обидчивые до чертиков. Да я и не собираюсь рассказывать свою автобиографию и всякую такую чушь, просто расскажу ту сумасшедшую историю, которая случилась прошлым Рождеством. А потом я чуть не отдал концы, и меня отправили сюда отдыхать и лечиться. Я и ему — Д. Б. — только про это и рассказывал, а ведь он мне как-никак родной брат. Он живет в Голливуде. Это не очень далеко отсюда, от этого треклятого санатория, он часто ко мне ездит, почти каждую неделю. И домой он меня сам

отвезет — может быть, даже в будущем месяце. Купил себе недавно «ягуар». Английская штучка, может делать двести миль в час. Выложил за нее чуть ли не четыре тысячи. Денег у него теперь куча. Не то что раньше. Раньше, когда он жил дома, он был настоящим писателем. Может, слыхали — это он написал мировую книжку рассказов «Спрятанная рыбка». Самый лучший рассказ так и назывался — «Спрятанная рыбка», там про одного мальчишку, который никому не позволял смотреть на свою золотую рыбку, потому что купил ее на собственные деньги. С ума сойти, какой рассказ! А теперь мой брат в Голливуде, совсем скурвился. Если я что ненавижу, так это кино. Терпеть не могу.

Лучше всего начну рассказывать с того дня, как я ушел из Пэнси. Пэнси — это закрытая средняя школа в Эгерстауне, штат Пенсильвания. Наверно, вы про нее слыхали. Рекламу вы, во всяком случае, видели. Ее печатают чуть ли не в тысяче журналов — этакий хлюст, верхом на лошади, скачет через препятствия. Как будто в Пэнси только и делают, что играют в поло. А я там даже лошади ни разу в глаза не видал. И под этим конным хлюстом подпись: «С 1888 года в нашей школе выковывают смелых и благородных юношей». Вот уж липа! Никого они там не выковывают, да и в других школах тоже. И ни одного «благородного и смелого» я не встречал, ну, может, есть там одиндва — и обчелся. Да и то они такими были еще до школы.

Словом, началось это в субботу, когда шел футбольный матч с Сэксон-холлом. Считалось, что для Пэнси этот матч важней всего на свете. Матч был финальный, и, если бы наша школа проиграла, нам

всем полагалось чуть ли не перевешаться с горя. Помню, в тот день, часов около трех, я стоял черт знает где, на самой горе Томпсона, около дурацкой пушки, которая там торчит, кажется, с самой Войны за независимость. Оттуда видно было все поле и как обе команды гоняют друг дружку из конца в конец. Трибун я как следует разглядеть не мог, только слышал, как там орут. На нашей стороне орали во всю глотку — собралась вся школа, кроме меня, — а на их стороне что-то вякали: у приезжей команды народу всегда маловато.

На футбольных матчах всегда мало девчонок. Только старшеклассникам разрешают их приводить. Гнусная школа, ничего не скажешь. А я люблю бывать там, где вертятся девчонки, даже если они просто сидят, ни черта не делают, только почесываются, носы вытирают или хихикают. Дочка нашего директора, старика Термера, часто ходит на матчи, но не такая это девчонка, чтоб по ней с ума сходить. Хотя в общем она ничего. Как-то я с ней сидел рядом в автобусе, ехали из Эгерстауна и разговорились. Мне она понравилась. Правда, нос у нее длинный, и ногти обкусаны до крови, и в лифчик что-то подложено, чтоб торчало во все стороны, но ее почему-то было жалко. Понравилось мне то, что она тебе не вкручивала, какой у нее замечательный папаша. Наверно, сама знала, что он трепло несусветное.

Не пошел я на поле и забрался на гору, так как только что вернулся из Нью-Йорка с командой фехтовальщиков. Я капитан этой вонючей команды. Важная шишка. Поехали мы в Нью-Йорк на состязание со школой Мак-Берни. Только состязание не состоялось. Я забыл рапиры, и костюмы, и вообще всю эту

петрушку в вагоне метро. Но я не совсем виноват. Приходилось все время вскакивать, смотреть на схему, где нам выходить. Словом, вернулись мы в Пэнси не к обеду, а уже в половине третьего. Ребята меня бойкотировали всю дорогу. Даже смешно.

И еще я не пошел на футбол оттого, что собрался зайти к старику Спенсеру, моему учителю истории, попрощаться перед отъездом. У него был грипп, и я сообразил, что до начала рождественских каникул я его не увижу. А он мне прислал записку, что хочет меня видеть до того, как я уеду домой. Он знал, что я не вернусь.

Да, забыл сказать — меня вытурили из школы. После Рождества мне уже не надо было возвращаться, потому что я провалился по четырем предметам, и вообще не занимался, и все такое. Меня сто раз предупреждали — старайся, учись. А моих родителей среди четверти вызвали к старому Термеру, но я все равно не занимался. Меня и вытурили. Они много кого выгоняют из Пэнси. У них очень высокая академическая успеваемость, серьезно, очень высокая.

Словом, дело было в декабре, и холодно, как у ведьмы за пазухой, особенно на этой треклятой горке. На мне была только куртка — ни перчаток, ни черта. На прошлой неделе кто-то спер мое верблюжье пальто прямо из комнаты вместе с теплыми перчатками — они там и были, в кармане. В этой школе полно жулья. У многих ребят родители богачи, но все равно там полно жулья. Чем дороже школа, тем в ней больше ворюг. Словом, стоял я у этой дурацкой пушки, чуть зад не отморозил. Но на матч я почти и не смотрел. А стоял я там потому, что хотелось почувствовать, что я с этой школой прощаюсь. Вообще я

часто откуда-нибудь уезжаю, но никогда и не думаю ни про какое прощание. Я это ненавижу. Я не задумываюсь, грустно ли мне уезжать, неприятно ли. Но когда я расстаюсь с каким-нибудь местом, мне надо почувствовать, что я с ним действительно расстаюсь. А то становится еще неприятней.

Мне повезло. Вдруг я вспомнил про одну штуку и сразу почувствовал, что я отсюда уезжаю навсегда. Я вдруг вспомнил, как мы однажды, в октябре, втроем — я, Роберт Тичнер и Пол Кембл — гоняли мяч перед учебным корпусом. Они славные ребята, особенно Тичнер. Время шло к обеду, совсем стемнело, но мы все гоняли мяч и гоняли. Стало уже совсем темно, мы и мяч-то почти не видели, но ужасно не хотелось бросать. И все-таки пришлось. Наш учитель биологии, мистер Зембизи, высунул голову из окна учебного корпуса и велел идти в общежитие, одеваться к обеду. Как вспомнишь такую штуку, так сразу почувствуешь: тебе ничего не стоит уехать отсюда навсегда, — у меня по крайней мере почти всегда так бывает. И только я понял, что уезжаю навсегда, я повернулся и побежал вниз с горы, прямо к дому старика Спенсера. Он жил не при школе. Он жил на улице Энтони Уэйна.

Я бежал всю дорогу, до главного выхода, а потом переждал, пока не отдышался. У меня дыхание короткое, по правде говоря. Во-первых, я курю как паровоз, то есть раньше курил. Тут, в санатории, заставили бросить. И еще — я за прошлый год вырос на шесть с половиной дюймов. Наверно, от этого я и заболел туберкулезом и попал сюда на проверку и на это дурацкое лечение. А в общем, я довольно здоровый.

Словом, как только я отдышался, я побежал через дорогу на улицу Уэйна. Дорога вся обледенела до черта, и я чуть не грохнулся. Не знаю, зачем я бежал, наверно, просто так. Когда я перебежал через дорогу, мне вдруг показалось, что я исчез. День был какой-то сумасшедший, жуткий холод, ни проблеска солнца, ничего, и казалось, стоит тебе пересечь дорогу, как ты сразу исчезнешь навек.

Ух, и звонил же я в звонок, когда добежал до старика Спенсера! Промерз я насквозь. Уши болели, пальцем пошевельнуть не мог. «Ну, скорей, скорей! — говорю чуть ли не вслух. — Открывайте!» Наконец старушка Спенсер мне открыла. У них прислуги нет и вообще никого нет, они всегда сами открывают двери. Денег у них в обрез.

— Холден! — сказала миссис Спенсер. — Как я рада тебя видеть! Входи, милый! Ты, наверно, закоченел до смерти?

Мне кажется, она и вправду была рада меня видеть. Она меня любила. По крайней мере мне так казалось.

Я пулей влетел к ним в дом.

— Как вы поживаете, миссис Спенсер? — говорю. — Как здоровье мистера Спенсера?

— Дай твою куртку, милый! — говорит она. Она и не слышала, что я спросил про мистера Спенсера. Она была немножко глуховата.

Она повесила мою куртку в шкаф в прихожей, и я пригладил волосы ладонью. Вообще я ношу короткий ежик, мне причесываться почти не приходится.

— Как же вы живете, миссис Спенсер? — спрашиваю, но на этот раз громче, чтобы она услыхала.

— Прекрасно, Холдсн. — Она закрыла шкаф в прихожей. — А ты-то как живешь?

И я по ее голосу сразу понял: видно, старик Спенсер рассказал ей, что меня выперли.

— Отлично, — говорю. — А как мистер Спенсер? Кончился у него грипп?

— Кончился? Холден, он ведет себя как... как не знаю кто!.. Он у себя, милый, иди прямо к нему.

## 2

У них у каждого была своя комната. Лет им было под ссмьдесят, а то и больше. И все-таки они получали удовольствие от жизни, хоть одной ногой и стояли в могиле. Знаю, свинство так говорить, но я вовсе не о том. Просто я хочу сказать, что я много думал про старика Спенсера, а если про него слишком много думать, начинаешь удивляться — за каким чсртом он еще живет. Понимаете, он весь сгорбленный и еле ходит, а если он в классе уронит мел, так кому-нибудь с псрвой парты приходится нагибаться и подавать ему. По-моему, это ужасно. Но ссли не слишком разбираться, а просто так подумать, то выходит, что он вовсе не плохо живет. Например, один раз, в воскрессньс, когда он меня и еще нескольких других ребят угощал горячим шоколадом, он нам показал потрепанное индейское одеяло — они с миссис Спенсер купили его у какого-то индейца в Йеллоустонском парке. Видно было, что старик Спенсер от этой покупки в восторге. Вы понимаете, о чем я? Живет себе такой человек вроде старого Спенсера, из него уже песок сыплется, а он все еще приходит в восторг от какого-то одеяла.

Дверь к нему была открыта, но я все же постучался, просто из вежливости. Я видел его — он сидел в большом кожаном кресле, закутанный в то самое одеяло, про которое я говорил. Он обернулся, когда я постучал.

— Кто там? — заорал он. — Ты, Колфилд? Входи, мальчик, входи!

Он всегда орал дома, не то что в классе. На нервы действовало, серьёзно.

Только я вошсл — и уже пожалел, зачем меня принесло. Он читал «Атлантик мансли», и везде стояли какие-то пузырьки, пилюли, все пахло каплями от насморка. Тоску нагоняло. Я и вообще-то не слишком люблю больных. И все казалось еще унылее оттого, что на старом Спенсере был ужасно жалкий, потертый, старый халат — наверно, он его носил с самого рождения, честное слово. Не люблю я стариков в пижамах или халатах. Вечно у них грудь наружу, все их старые ребра видны. И ноги жуткие. Видали стариков на пляжах, какие у них ноги белые, безволосые?

— Здравствуйте, сэр! — говорю. — Я получил вашу записку. Спасибо вам большое. — Он мне написал записку, чтобы я к нему зашел проститься перед каникулами; он знал, что я больше не вернусь. — Вы напрасно писали, я бы все равно зашел попрощаться.

— Садись вон туда, мальчик, — сказал старый Спенсер. Он показал на кровать.

Я сел на кровать.

— Как ваш грипп, сэр?

— Знаешь, мой мальчик, если бы я себя чувствовал лучше, пришлось бы послать за доктором! — Старик сам себя рассмешил. Он стал хихикать как су-

масшедший. Наконец отдышался и спросил: — А почему ты не на матче? Кажется, сегодня финал?

— Да. Но я только что вернулся из Нью-Йорка с фехтовальной командой.

Господи, ну и постель! Настоящий камень!

Он вдруг напустил на себя страшную строгость — я знал, что так будет.

— Значит, ты уходишь от нас? — спрашивает.

— Да, сэр, похоже на то.

Тут он начал качать головой. В жизни не видел, чтобы человек столько времени подряд мог качать головой. Не поймешь, оттого ли он качает головой, что задумался, или просто потому, что он уже совсем старикашка и ни хрена не понимает.

— А о чем с тобой говорил доктор Термер, мой мальчик? Я слыхал, что у вас был долгий разговор.

— Да, был. Поговорили. Я просидел у него в кабинете часа два, если не больше.

— Что же он тебе сказал?

— Ну... всякое. Что жизнь — это честная игра. И что надо играть по правилам. Он хорошо говорил. То есть ничего особенного он не сказал. Все насчет того же, что жизнь — это игра и всякое такое. Да вы сами знаете.

— Но жизнь действительно игра, мой мальчик, и играть надо по правилам.

— Да, сэр. Знаю. Я все это знаю.

Тоже сравнили! Хорошая игра! Попадешь в ту партию, где классные игроки, — тогда ладно, куда ни шло, тут действительно игра. А если попасть на другую сторону, где одни мазилы, — какая уж тут игра? Ни черта похожего. Никакой игры не выйдет.

— А доктор Термер уже написал твоим родителям? — спросил старик Спенсер.

— Нет, он собирается написать им в понедельник.

— А ты сам им ничего нс сообщил?

— Нет, сэр, я им ничего не сообщил, увижу их в среду вечером, когда присду домой.

— Как же, по-твоему, они отнесутся к этому известию?

— Как сказать... Рассердятся, наверно, — говорю. — Должно быть, рассердятся. Ведь я уже в четвертой школе учусь.

И я тряхнул головой. Это у меня привычка такая.

— Эх! — говорю. Это тоже привычка — говорить «Эх!» или «Ух ты!», отчасти потому, что у меня не хватает слов, а отчасти потому, что я иногда веду себя совсем не по возрасту. Мне тогда было шестнадцать, а теперь мне уже семнадцать, но иногда я так держусь, будто мне лет тринадцать, не больше. Ужасно нелепо выходит, особенно потому, что во мне шесть футов и два с половиной дюйма, да и волосы у меня с проседью. Это правда. У меня на одной стороне, справа, миллион седых волос. С самого детства. И все-таки иногда я держусь, будто мне лет двенадцать. Так про меня все говорят, особенно отец. Отчасти это верно, но не совсем. Мне-то наплевать, хотя тоска берет, когда тебя поучают — веди себя как взрослый. Иногда я веду себя так, будто я куда старше своих лет, но этого-то люди не замечают. Вообще ни черта они не замечают.

Старый Спенсер опять начал качать головой. И при этом ковырял в носу. Он старался делать вид, будто потирает нос, но на самом деле он весь палец туда запустил. Наверно, он думал, что это можно, потому что,

кроме меня, никого тут не было. Мне-то все равно, хоть и противно видеть, как ковыряют в носу.

Потом он заговорил:

— Я имел честь познакомиться с твоей матушкой и с твоим отцом, когда они приезжали побеседовать с доктором Термером несколько недель назад. Они изумительные люди.

— Да, конечно. Они хорошие.

«Изумительные». Ненавижу это слово! Ужасная пошлятина. Мутит, когда слышишь такие слова.

И вдруг у старого Спенсера стало такое лицо, будто он сейчас скажет что-то очень хорошее, умное. Он выпрямился в кресле, сел поудобнее. Оказалось, ложная тревога. Просто он взял журнал с колен и хотел кинуть его на кровать, где я сидел. И не попал. Кровать была в двух дюймах от него, а он все равно не попал. Пришлось мне встать, поднять журнал и положить на кровать. И вдруг мне захотелось бежать к чертям из этой комнаты. Я чувствовал, сейчас начнется жуткая проповедь. Вообще-то я не возражаю, пусть говорит, но чтобы тебя отчитывали, а кругом воняло лекарствами и старый Спенсер сидел перед тобой в пижаме и халате — это уж слишком. Не хотелось слушать.

Тут и началось.

— Что ты с собой делаешь, мальчик? — сказал старый Спенсер. Он заговорил очень строго, как он раньше не разговаривал. — Сколько предметов ты сдавал в этой четверти?

— Пять, сэр.

— Пять. А сколько завалил?

— Четыре. — Я поерзал на кровати. На такой жесткой кровати я еще никогда в жизни не сидел.

Английский я хорошо сдал, потому что я учил «Беовульфа» и «Лорд Рэндал, мой сын» и всю эту штуку еще в Хуттонской школе. Английским мне приходилось заниматься, только когда задавали сочинения.

Он меня даже не слушал. Он никогда не слушал, что ему говорили.

— Я провалил тебя по истории, потому что ты совершенно ничего не учил.

— Понимаю, сэр. Отлично понимаю. Что вам было делать?

— Совершенно ничего не учил! — повторил он. Меня злит, когда люди повторяют то, с чем ты сразу согласился. А он и в третий раз повторил: — Совершенно ничего не учил! Сомневаюсь, открывал ли ты учебник хоть раз за всю четверть. Открывал? Только говори правду, мальчик!

— Нет, я, конечно, просматривал его раза два, — говорю. Не хотелось его обижать. Он был помешан на своей истории.

— Ах, просматривал? — сказал он очень ядовито. — Твоя, с позволения сказать, экзаменационная работа вон там, на полке. Сверху, на тетрадях. Дай ее сюда, пожалуйста!

Это было ужасное свинство с его стороны, но я взял свою тетрадку и подал ему — больше ничего делать не оставалось. Потом я опять сел на эту бетонную кровать. Вы себе и представить не можете, как я жалел, что зашел к нему проститься!

Он держал мою тетрадь, как навозную лепешку или еще что похуже.

— Мы проходили Египет с четвертого ноября по второе декабря, — сказал он. — Ты сам выбрал эту

тему для экзаменационной работы. Не угодно ли тебе послушать, что ты написал?

— Да нет, сэр, не стоит, — говорю.

А он все равно стал читать. Уж если преподаватель решил что-нибудь сделать, его не остановишь. Все равно сделает по-своему.

— «Египтяне были древней расой кавказского происхождения, обитавшей в одной из северных областей Африки. Она, как известно, является самым большим материком в Восточном полушарии».

И я должен был сидеть и слушать всю эту несусветную чушь. Свинство, честное слово.

— «В наше время мы интересуемся египтянами по многим причинам. Современная наука все еще добивается ответа на вопрос — какие тайные составы употребляли египтяне, бальзамируя своих покойников, чтобы их лица не сгнивали в течение многих веков. Эта таинственная загадка все еще бросает вызов современной науке двадцатого века».

Он замолчал и положил мою тетрадку. Я почти что ненавидел его в эту минуту.

— Твой, так сказать, экскурс в науку на этом кончается, — проговорил он тем же ядовитым голосом. Никогда бы не подумал, что в таком древнем старикашке столько яду. — Но ты еще сделал внизу небольшую приписку лично мне, — добавил он.

— Да-да, помню, помню! — сказал я. Я заторопился, чтобы он хоть это не читал вслух. Куда там — разве его остановишь! Из него прямо искры сыпались!

— «Дорогой мистер Спенсер! — Он читал ужасно громко. — Вот все, что я знаю про египтян. Меня они почему-то не очень интересуют, хотя Вы чита-

ете про них очень хорошо. Ничего, если Вы меня провалите, — я все равно уже провалился по другим предметам, кроме английского. Уважающий Вас Холден Колфилд».

Тут он положил мою треклятую тетрадку и посмотрел на меня так, будто сделал мне сухую в пинг-понг. Никогда не прощу ему, что он прочитал эту чушь вслух. Если б он написал такое, я бы ни за что на свете вслух не прочел, слово даю. А главное, добавил-то я эту проклятую приписку, чтобы ему не было неловко меня проваливать.

— Ты сердишься, что я тебя провалил, мой мальчик? — спросил он.

— Что вы, сэр, ничуть! — говорю. Хоть бы он перестал называть меня «мой мальчик», черт подери!

Он бросил мою тетрадку на кровать. Но, конечно, опять не попал. Пришлось мне вставать и подымать ее. Я ее положил на «Атлантик мансли». Вот еще, охота была поминутно нагибаться.

— А что бы ты сделал на моем месте? — спросил он. — Только говори правду, мой мальчик.

Да, видно, ему было здорово не по себе оттого, что он меня провалил. Тут, конечно, я принялся наворачивать. Говорил, что я умственно отсталый, вообще кретин, что я сам на его месте поступил бы точно так же и что многие не понимают, до чего трудно быть преподавателем. И все в таком роде. Словом, наворачивал как надо.

Но самое смешное, что думал-то я все время о другом. Сам наворачиваю, а сам думаю про другое. Живу я в Нью-Йорке, и думал я про тот пруд, в Центральном парке, у Южного выхода: замерзает он или нет, а если замерзает, куда деваются утки? Я не мог

себе представить, куда деваются утки, когда пруд покрывается льдом и промерзает насквозь. Может быть, подъезжает грузовик и увозит их куда-нибудь в зоопарк? А может, они просто улетают?

Все-таки у меня это хорошо выходит. Я хочу сказать, что я могу наворачивать что попало старику Спенсеру, а сам в это время думаю про уток. Занятно выходит, но когда разговариваешь с преподавателем, думать вообще не надо. И вдруг он меня перебил. Он всегда перебивает.

— Скажи, а что ты по этому поводу думаешь, мой мальчик? Интересно было бы знать. Весьма интересно.

— Это насчет того, что меня вытурили из Пэнси? — спрашиваю. Хоть бы он запахнул свой дурацкий халат. Смотреть неприятно.

— Если я не ошибаюсь, у тебя были те же затруднения и в Хуттонской школе, и в Элктон-хилле?

Он это сказал не только ядовито, но и как-то противно.

— Никаких затруднений в Элктон-хилле у меня не было, — говорю. — Я не проваливался, ничего такого. Просто ушел — и все.

— Разреши спросить — почему?

— Почему? Да это длинная история, сэр. Все это вообще довольно сложно.

Ужасно не хотелось рассказывать ему — что да как. Все равно он бы ничего не понял. Не по его это части. А ушел я из Элктон-хилла главным образом потому, что там была одна сплошная липа. Все делалось напоказ — не продохнешь. Например, их директор, мистер Хаас. Такого подлого притворщика я в жизни не встречал. В десять раз хуже старика Терме-

ра. По воскресеньям, например, этот чертов Хаас ходил и жал ручки всем родителям, которые приезжали. И до того мил, до того вежлив — просто картинка. Но не со всеми он одинаково здоровался — у некоторых ребят родители были попроще, победнее. Вы бы посмотрели, как он, например, здоровался с родителями моего соседа по комнате. Понимаете, если у кого мать толстая или смешно одета, а отец ходит в костюме с ужасно высокими плечами и башмаки на нем старомодные, черные с белым, тут этот самый Хаас только протягивал им два пальца и притворно улыбался, а потом как начнет разговаривать с другими родителями — полчаса разливается! Не выношу я этого. Злость берет. Так злюсь, что с ума можно спятить. Ненавижу я этот проклятый Элктон-хилл.

Старый Спенсер меня спросил о чем-то, но я не расслышал. Я все думал об этом подлом Хаасе.

— Что вы сказали, сэр? — говорю.

— Но ты хоть огорчен, что тебе приходится покидать Пэнси?

— Да, конечно, немножко огорчен. Конечно... но все-таки не очень. Наверно, до меня еще не дошло. Мне на это нужно время. Пока я больше думаю, как поеду домой в среду. Видно, я все-таки кретин!

— Неужели ты совершенно не думаешь о своем будущем, мой мальчик?

— Нет, как не думать — думаю, конечно. — Я остановился. — Только не очень часто. Не часто.

— Призадумаешься! — сказал старый Спенсер. — Потом призадумаешься, когда будет поздно!

Мне стало неприятно. Зачем он так говорил — будто я уже умер? Ужасно неприятно.

— Непременно подумаю, — говорю, — я подумаю.

— Как бы объяснить тебе, мальчик, вдолбить тебе в голову то, что нужно? Ведь я помочь тебе хочу, понимаешь?

Видно было, что он действительно хотел мне помочь. По-настоящему. Но мы с ним тянули в разные стороны — вот и все.

— Знаю, сэр, — говорю, — и спасибо вам большое. Честное слово, я очень это ценю, правда!

Тут я встал с кровати. Ей-богу, я не мог бы просидеть на ней еще десять минут даже под страхом смертной казни.

— К сожалению, мне пора! Надо забрать вещи из гимнастического зала, у меня там масса вещей, а они мне понадобятся. Ей-богу, мне пора!

Он только посмотрел на меня и опять стал качать головой, и лицо у него стало такое серьезное, грустное. Мне вдруг стало жалко его до чертиков. Но не мог же я торчать у него весь век, да и тянули мы в разные стороны. И вечно он бросал что-нибудь на кровать и промахивался, и этот его жалкий халат, вся грудь видна, а тут еще пахнет гриппозными лекарствами на весь дом.

— Знаете что, сэр, — говорю, — вы из-за меня не огорчайтесь. Не стоит, честное слово. Все наладится. Это у меня переходный возраст, сами знаете. У всех это бывает.

— Не знаю, мой мальчик, не знаю...

Ненавижу, когда так бормочут.

— Бывает, — говорю, — это со всеми бывает! Правда, сэр, не стоит вам из-за меня огорчаться. — Я даже руку ему положил на плечо. — Не стоит! — говорю.

— Не выпьешь ли чашку горячего шоколада на дорогу? Миссис Спенсер с удовольствием...

— Я бы выпил, сэр, честное слово, но надо бежать. Надо скорее попасть в гимнастический зал. Спасибо вам огромное, сэр. Огромное спасибо.

И тут мы стали жать друг другу руки. Все это чушь, конечно, но мне почему-то сделалось ужасно грустно.

— Я вам черкну, сэр. Берегитесь после гриппа, ладно?

— Прощай, мой мальчик.

А когда я уже закрыл дверь и вышел в столовую, он что-то заорал мне вслед, но я не расслышал. Кажется, он орал «Счастливого пути!». А может быть, и нет. Надеюсь, что нет. Никогда я не стал бы орать вслед «Счастливого пути!». Гнусная привычка, если вдуматься.

## 3

Я ужасный лгун — такого вы никогда в жизни не видали. Страшное дело. Иду в магазин покупать какой-нибудь журнальчик, а если меня вдруг спросят куда, я могу сказать, что иду в оперу. Жуткое дело! И то, что я сказал старику Спенсеру, будто иду в гимнастический зал забирать вещи, тоже было вранье. Я и не держу ничего в этом треклятом зале.

Пока я учился в Пэнси, я жил в новом общежитии, в корпусе имени Оссенбергера. Там жили только старшие и младшие. Я был из младших, мой сосед — из старших. Корпус был назван в честь Оссенбергера, был тут один такой, учился раньше в Пэнси. А когда окончил, заработал кучу денег на похоронных бюро. Он их понастроил по всему штату — знаете, такие

похоронные бюро, через которые можно хоронить своих родственников по дешевке — пять долларов с носа. Вы бы посмотрели на этого самого Оссенбергера. Ручаюсь, что он просто запихивает покойников в мешок и бросает в речку. Так вот этот тип пожертвовал на Пэнси кучу денег, и наш корпус назвали в его честь. На первый матч в году он приехал в своем роскошном «кадиллаке», а мы должны были вскочить на трибунах и трубить вовсю, то есть кричать ему «Ура!». А на следующее утро в капелле он отгрохал речь часов на десять. Сначала рассказал пятьдесят анекдотов вот с такой бородищей, хотел показать, какой он молодчага. Сила. А потом стал рассказывать, как он в случае каких-нибудь затруднений или еще чего никогда не стесняется — станет на колени и помолится Богу. И нам тоже советовал всегда молиться Богу — беседовать с ним в любое время. «Вы, — говорит, — обращайтесь ко Христу просто как к приятелю. Я сам все время разговариваю с Христом по душам. Даже когда веду машину». Я чуть не сдох. Воображаю, как этот сукин сын переводит машину на первую скорость, а сам просит Христа послать ему побольше покойничков. Но тут во время его речи случилось самое замечательное. Он как раз дошел до середины, рассказывал про себя, какой он замечательный парень, какой ловкач, и вдруг Эдди Марсалла — он сидел как раз передо мной — пукнул на всю капеллу. Конечно, это ужасно, очень невежливо, в церкви, при всех, но очень уж смешно вышло. Молодец Марсалла! Чуть крышу не сорвал. Никто вслух не рассмеялся, а этот Оссенбергер сделал вид, что ничего не слышал, но старик Термер, наш директор, сидел рядом с ним на кафедре, и сразу было видно, что он-то хорошо слыхал. Ух,

и разозлился он. Ничего нам не сказал, но вечером собрал всех на дополнительные занятия и произнес речь. Он сказал, что ученик, который так нарушил порядок во время службы, недостоин находиться в стенах школы. Мы пробовали заставить нашего Марсаллу дать еще залп во время речи старика Термера, но он был не в настроении. Так вот, я жил в корпусе имени этого Оссенбергера, в новом общежитии.

Приятно было от старика Спенсера попасть к себе в комнату, тем более что все были на футболе, а батареи в виде исключения хорошо грелись. Даже стало как-то уютно. Я снял куртку, галстук, расстегнул воротник рубашки, а потом надел красную шапку, которую утром купил в Нью-Йорке. Это была охотничья шапка с очень-очень длинным козырьком. Я ее увидел в окне спортивного магазина, когда мы вышли из метро, где я потерял эти чертовы рапиры. Заплатил всего доллар. Я ее надевал задом наперед — глупо, конечно, но мне так нравилось. Потом я взял книгу, которую читал, и сел в кресло. В комнате было два кресла. Одно — мое, другое — моего соседа, Уорда Стрэдлейтера. Ручки у кресел были совсем поломаны, потому что вечно на них кто-нибудь садился, но сами кресла были довольно удобные.

Читал я ту книжку, которую мне дали в библиотеке по ошибке. Я только дома заметил, что мне дали не ту книгу. Они мне дали «Прощай, Африка» Айзека Динесена. Я думал, дрянь, а оказалось интересно. Хорошая книга. Вообще я очень необразованный, но читаю много. Мой любимый писатель — Д. Б., мой брат, а на втором месте — Ринг Ларднер. В день рождения брат мне подарил книжку Ринга Ларднера — это было еще перед поступлением в Пэнси. В книжке были пье-

сы — ужасно смешные, а потом рассказ про полисмена-регулировщика, он влюбляется в одну очень хорошенькую девушку, которая вечно нарушает правила движения. Но полисмен женат и, конечно, не может жениться на девушке. А потом девушка гибнет, потому что она вечно нарушает правила. Потрясающий рассказ. Вообще я больше всего люблю книжки, в которых есть хоть что-нибудь смешное. Конечно, я читаю всякие классические книги вроде «Возвращения на родину», и всякие книги про войну, и детективы, но как-то они меня не очень увлекают. А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца — так сразу подумаешь: хорошо, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом и чтоб с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется. Но это редко бывает. Я бы с удовольствием позвонил этому Динесену, ну и, конечно, Рингу Ларднеру, только Д. Б. сказал, что он уже умер. А вот, например, такая книжка, как «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма, — совсем не то. Я ее прочел прошлым летом. Книжка в общем ничего, но у меня нет никакого желания звонить этому Сомерсету Моэму по телефону. Сам не знаю почему. Просто не тот он человек, с которым хочется поговорить. Я бы скорей позвонил покойному Томасу Гарди. Мне нравится его Юстасия Вэй.

Значит, надел я свою новую шапку, уселся в кресло и стал читать «Прощай, Африка». Один раз я ее уже прочел, но мне хотелось перечитать некоторые места. Я успел прочитать всего страницы три, как вдруг кто-то вышел из душевой. Я и не глядя понял, что это Роберт Экли — он жил в соседней комнате. В нашем крыле на каждые две комнаты была общая душевая, и этот Экли врывался ко мне раз восемьдесят на дню.

Кроме того, он один из всего общежития не пошел на футбол. Он вообще никуда не ходил. Странный был тип. Он был старшеклассник и проучился в Пэнси уже четыре года, но все его называли только по фамилии — Экли. Даже его сосед по комнате, Херб Гейл, никогда не называл его «Боб» или хотя бы «Эк». Наверно, и жена будет звать его «Экли» — если только он когда-нибудь женится. Он был ужасно высокий — шесть футов четыре дюйма, страшно сутулый, и зубы гнилые. Ни разу, пока мы жили рядом, я не видал, чтобы он чистил зубы. Они были какие-то грязные, заплесневелые, а когда он в столовой набивал рот картошкой или горохом, меня чуть не тошнило. И потом — прыщи. Не только на лбу или там на подбородке, как у всех мальчишек, — у него все лицо было прыщавое. Да и вообще он был противный. И какой-то подлый. По правде говоря, я не очень-то его любил.

Я чувствовал, что он стоит на пороге душевой, прямо за моим креслом, и смотрит, здесь ли Стрэдлейтер. Он ненавидел Стрэдлейтера и никогда не заходил к нам в комнату, если тот был дома. Вообще он почти всех ненавидел.

Он вышел из душевой и подошел ко мне.

— Привет! — говорит. Он всегда говорил таким тоном, как будто ему до смерти скучно или он до смерти устал. Он не хотел, чтобы я подумал, будто он зашел ко мне в гости. Он делал вид, будто зашел нечаянно, черт его дери.

— Привет! — говорю, но книгу не бросаю. Если при таком типе, как Экли, бросить книгу, он тебя замучает. Он все равно тебя замучает, но не сразу, если ты будешь читать.

Он стал бродить по комнате, медленно, как всегда, и трогать все мои вещи на столе и на тумбочке. Вечно он все вещи перетрогает, пересмотрит. До чего же он мне действовал на нервы!

— Ну, как фехтование? — говорит. Ему непременно хотелось помешать мне читать, испортить все удовольствие. Плевать ему было на фехтование. — Кто победил — мы или не мы? — спрашивает.

— Никто не победил, — говорю, а сам не поднимаю головы.

— Что? — спросил он. Он всегда переспрашивал.

— Никто не победил. — Я покосился на него, посмотрел, что он там крутит на моей тумбочке. Он рассматривал фотографию девчонки, с которой я дружил в Нью-Йорке, ее звали Салли Хейс. Он эту треклятую карточку, наверно, держал в руках по крайней мере пять тысяч раз. И ставил он ее всегда не на то место. Нарочно — это сразу было видно.

— Никто не победил? — сказал он. — Как же так?

— Да я все это дурацкое снаряжение забыл в метро. — Голову я так и не поднял.

— В метро? Что за черт! Потерял, что ли?

— Мы не на ту линию сели. Все время приходилось вскакивать и смотреть на схему метро.

Он подошел, заслонил мне свет.

— Слушай, — говорю, — я из-за тебя уже двадцатый раз читаю одну и ту же фразу.

Всякий, кроме Экли, понял бы намек. Только не он.

— А тебя не заставят платить? — спрашивает.

— Не знаю и знать не хочу. Может, ты сядешь, Экли, детка, а то ты мне весь свет загородил.

Он ненавидел, когда я называл его «Экли, детка». А сам он вечно говорил, что я еще маленький, потому что мне было шестнадцать, а ему уже восемнадцать. Он бесился, когда я называл его «детка».

А он стал и стоит. Такой это был человек — ни за что не отойдет от света, если его просят. Потом, конечно, отойдет, но если его попросить, он нарочно не отойдет.

— Что ты читаешь? — спрашивает.

— Не видишь — книгу читаю.

Он перевернул книгу, посмотрел заголовок.

— Хорошая? — спрашивает.

— Да, особенно эта фраза, которую я все время читаю. — Я тоже иногда могу быть довольно ядовитым, если я в настроении. Но до него не дошло. Опять он стал ходить по комнате, опять стал цапать все мои вещи и даже вещи Стрэдлейтера. Наконец я бросил книгу на пол. Все равно при Экли читать немыслимо. Просто невозможно.

Я развалился в кресле и стал смотреть, как Экли хозяйничает в моей комнате. От поездки в Нью-Йорк я порядком устал, зевота напала. Но потом начал валять дурака. Люблю иногда подурачиться просто от скуки. Я повернул шапку козырьком вперед и надвинул на самые глаза. Я так ни черта не мог видеть.

— Увы, увы! Кажется, я слепну! — говорю я сиплым голосом. — О моя дорогая матушка, как темно стало вокруг.

— Да ты спятил, ей-богу! — говорит Экли.

— Матушка, родная, дай руку своему несчастному сыну! Почему ты не подаешь мне руку помощи?

— Да перестань ты, балда!

Я стал шарить вокруг, как слепой, не вставая. И все время сипел:

— Матушка, матушка! Почему ты не подаешь мне руку?

Конечно, я просто валял дурака. Мне от этого иногда бывает весело. А кроме того, я знал, что Экли злится как черт. С ним я становился настоящим садистом. Злил его изо всех сил, нарочно злил. Но потом надоело. Я опять надел шапку козырьком назад и развалился в кресле.

— Это чье? — спросил Экли. Он взял в руки наколенник моего соседа. Этот проклятый Экли все хватал. Он что угодно мог схватить — шнурки от ботинок, что угодно. Я ему сказал, что наколенник — Стрэдлейтера. Он его сразу швырнул к Стрэдлейтеру на кровать; взял с тумбочки, а швырнул нарочно на кровать.

Потом подошел, сел на ручку второго кресла. Никогда не сядет по-человечески, обязательно на ручку.

— Где ты взял эту дурацкую шапку? — спрашивает.

— В Нью-Йорке.

— Сколько отдал?

— Доллар.

— Обдули тебя. — Он стал чистить свои гнусные ногти концом спички. Вечно он чистил ногти. Странная привычка. Зубы у него были заплесневелые, в ушах — грязь, но ногти он вечно чистил. Наверно, считал, что он чистоплотный. Он их чистил, а сам смотрел на мою шапку. — В моих краях на охоту в таких ходят, понятно? В них дичь стреляют.

— Черта с два! — говорю. Потом снимаю шапку, смотрю на нее. Прищурил один глаз, как будто це-

люсь. — В ней людей стреляют, — говорю, — я в ней людей стреляю.

— А твои родные знают, что тебя вытурили?

— Нет.

— Где же твой Стрэдлейтер?

— На матче. У него там свидание. — Я опять зевнул. Зевота одолела. В комнате стояла страшная жара, меня разморило, хотелось спать. В этой школе мы либо мерзли как собаки, либо пропадали от жары.

— Знаменитый Стрэдлейтер, — сказал Экли. — Слушай, дай мне на минутку ножницы. Они у тебя близко?

— Нет, я их уже убрал. Они в шкафу, на самом верху.

— Достань их на минутку, а? У меня ноготь задрался, надо срезать.

Ему было совершенно наплевать, убрал ли ты вещь или нет, на самом верху она или еще где. Все-таки я ему достал ножницы. Меня при этом чуть не убило. Только я открыл шкаф, как ракетка Стрэдлейтера — да еще вместе с деревянным прессом! — упала прямо мне на голову. Так грохнула, ужасно больно. Экли чуть не помер, до того он хохотал. Голос у него визгливый, тонкий. Я для него снимаю чемодан, вытаскиваю ножницы — а он заливается. Таких, как Экли, хлебом не корми — дай ему посмотреть, как человека стукнуло по голове камнем или еще чем: он просто обхохочется.

— Оказывается, у тебя есть чувство юмора, Экли, детка, — говорю ему. — Ты этого не знал? — Тут я ему подал ножницы. — Хочешь, я буду твоим менеджером, устрою тебя на радио?

Я сел в кресло, а он стал стричь свои паршивые ногти.

— Может, ты их будешь стричь над столом? — говорю. — Стриги над столом, я не желаю ходить босиком по твоим гнусным ногтям. — Но он все равно бросал их прямо на пол. Отвратительная привычка. Честное слово, противно.

— А с кем у Стрэдлейтера свидание? — спросил он. Он всегда выспрашивал, с кем Стрэдлейтер водится, хотя он его ненавидит.

— Не знаю. А тебе что?

— Просто так. Не терплю я эту сволочь. Вот уж не терплю!

— А он тебя обожает! Сказал, что ты — настоящий принц! — говорю. Я часто говорю кому-нибудь, что он — настоящий принц. Вообще я часто валяю дурака, мне тогда не так скучно.

— Он всегда задирает нос, — говорит Экли. — Не выношу эту сволочь. Можно подумать, что он...

— Слушай, может быть, ты все-таки будешь стричь ногти над столом? — говорю. — Я тебя раз пятьдесят просил...

— Задирает нос все время, — повторил Экли. — По-моему, он просто болван. А думает, что умный. Он думает, что он — самый умный...

— Экли! Черт тебя дери! Будешь ты стричь свои паршивые ногти над столом или нет? Я тебя пятьдесят раз просил, слышишь?

Тут он, конечно, стал стричь ногти над столом. Его только и заставишь что-нибудь сделать, когда накричишь на него.

Я посмотрел на него, потом сказал:

— Ты злишься на Стрэдлейтера за то, что он говорил, чтобы ты хоть иногда чистил зубы. Он тебя ничуть не хотел обидеть! И сказал он не нарочно, ничего обидного он не говорил. Просто он хотел сказать, что ты чувствовал бы себя лучше и выглядел бы лучше, если б ты хоть изредка чистил зубы.

— А я не чищу, что ли? И ты туда же!

— Нет, не чистишь! Сколько раз я за тобой следил, не чистишь — и все!

Я с ним говорил спокойно. Мне даже его было жаль. Я понимаю, не очень приятно, когда тебе говорят, что ты не чистишь зубы.

— Стрэдлейтер не сволочь. Он не такой уж плохой. Ты его просто не знаешь, в этом все дело.

— А я говорю — сволочь. И воображала.

— Может, он и воображает, но в некоторых вещах он человек широкий, — говорю. — Это правда. Ты пойми. Представь себе, например, что у Стрэдлейтера есть галстук или еще какая-нибудь вещь, которая тебе нравится. Ну, например, на нем галстук, и этот галстук тебе ужасно понравился — я просто говорю к примеру. Знаешь, что он сделал бы? Он, наверно, снял бы этот галстук и отдал тебе. Да, отдал. Или знаешь, что он сделал бы? Он бы оставил этот галстук у тебя на кровати или на столе. В общем, он бы тебе подарил этот галстук, понятно? А другие — никогда.

— Черта лысого! — сказал Экли. — Будь у меня столько денег, я бы тоже дарил галстуки.

— Нет, не дарил бы! — Я даже головой покачал. — И не подумал бы, детка! Если б у тебя было столько денег, как у него, ты был бы самым настоящим...

— Не смей называть меня «детка»! Черт! Я тебе в отцы гожусь, дуралей!

— Нет, не годишься! — До чего он меня раздражал, сказать не могу. И ведь не упустит случая ткнуть тебе в глаза, что ему восемнадцать, а тебе только шестнадцать. — Во-первых, я бы тебя в свой дом на порог не пустил...

— Словом, не смей меня называть...

Вдруг дверь открылась и влетел сам Стрэдлейтер. Он всегда куда-то летел. Вечно ему было некогда, все важные дела. Он подбежал ко мне, похлопал по щекам — тоже довольно неприятная привычка — и спрашивает:

— Ты идешь куда-нибудь вечером?

— Не знаю. Возможно. А какая там погода — снег, что ли?

Он весь был в снегу.

— Да, снег. Слушай, если тебе никуда не надо идти, дай мне свою замшевую куртку на вечер.

— А кто выиграл? — спрашиваю.

— Еще не кончилось. Мы уходим. Нет, серьезно, дашь мне свою куртку, если она тебе не нужна? Я залил свою серую какой-то дрянью.

— Да, а ты мне ее всю растянешь, у тебя плечи черт знает какие, — говорю. Мы с ним почти одного роста, но он весил раза в два больше, и плечи у него были широченные.

— Не растяну! — Он подбежал к шкафу. — Как делишки, Экли? — говорит. Он довольно приветливый малый, этот Стрэдлейтер. Конечно, это притворство, но все-таки он всегда здоровался с Экли.

А тот только буркнул что-то, когда Стрэдлейтер спросил: «Как делишки?» Экли не желал отвечать, но все-таки что-то буркнул — промолчать у него духу не хватило. А мне говорит:

— Ну, я пойду! Еще увидимся.

— Ладно! — говорю. Никто не собирался плакать, что он наконец ушел к себе.

Стрэдлейтер уже снимал пиджак и галстук.

— Надо бы побриться! — сказал он. У него здорово росла борода. Настоящая борода!

— А где твоя девочка?

— Ждет в том крыле, — говорит. Он взял полотенце, бритвенный прибор и вышел из комнаты. Так и пошел без рубашки. Он всегда расхаживал голый до пояса, считал, что он здорово сложен. И это верно, тут ничего не скажешь.

## 4

Делать мне было нечего, и я пошел за ним в умывалку потрепать языком, пока он будет бриться. Кроме нас, там никого не было, ребята сидели на матче. Жара была адская, все окна запотели. Вдоль стенки было штук десять раковин. Стрэдлейтер встал к средней раковине, а я сел на другую, рядом с ним, и стал открывать и закрывать холодный кран. Это у меня чисто нервное. Стрэдлейтер брился и насвистывал «Индийскую песню». Свистел он ужасно пронзительно и всегда фальшивил, а выбирал такие песни, которые и хорошему свистуну трудно высвистеть, — например «Индийскую песню» или «Убийство на Десятой авеню». Он любую песню мог исковеркать.

Я уже говорил, что Экли был зверски нечистоплотен. Стрэдлейтер тоже был нечистоплотный, но как-то по-другому. Снаружи это было незаметно. Выглядел он всегда отлично. Но вы бы посмотрели, ка-

кой он бритвой брился. Ржавая, как черт, вся в волосах, в засохшей пене. Он ее никогда не мыл. И хоть выглядел он отлично, особенно когда наводил на себя красоту, но все равно он был нечистоплотный, уж я-то его хорошо знал. А наводить красоту он любил, потому что был безумно в себя влюблен. Он считал, что красивей его нет человека во всем Западном полушарии. Он и на самом деле был довольно красивый — это верно. Но красота у него была такая, что все родители, когда видели его портрет в школьном альбоме, непременно спрашивали: «Кто этот мальчик?» Понимаете, красота у него была какая-то альбомная. У нас в Пэнси было сколько угодно ребят, которые, по-моему, были в тысячу раз красивей Стрэдлейтера, но на фото они выходили совсем не такими красивыми. То у них носы казались слишком длинными, то уши торчали. Я это хорошо знаю.

Я сидел на умывальнике рядом со Стрэдлейтером и то закрывал, то открывал кран. На мне все еще была моя красная охотничья шапка задом наперед. Ужасно она мне нравилась, эта шапка.

— Слушай! — сказал Стрэдлейтер. — Можешь сделать мне огромное одолжение?

— Какое? — спросил я. Особого удовольствия я не испытывал. Вечно он просил сделать ему огромное одолжение. Эти красивые ребята считают себя пупом земли и вечно просят сделать им огромное одолжение. Они до того в себя влюблены, что считают, будто ты тоже в них влюблен и только мечтаешь сделать им одолженис. Чудаки, право.

— Ты куда-нибудь идешь вчером? — спрашивает он.

— Можст, пойду, а может, и нет. А что?

— Мне надо к понедельнику прочесть чуть ли не сто страниц по истории, — говорит он. — Не напишешь ли ты за меня английское сочинение? Мне несдобровать, если я в понедельник ничего не сдам, потому и прошу. Напишешь?

Ну не насмешка ли? Честное слово, насмешка!

— Меня выгоняют из школы к чертям собачьим, а ты просишь, чтобы я за тебя писал какое-то сочинение! — говорю.

— Знаю, знаю. Но беда в том, что мне будет плохо, если я его не подам. Будь другом. А, дружище? Сделаешь?

Я не сразу ответил. Таких типов, как он, полезно подержать в напряжении.

— О чем писать? — спрашиваю.

— О чем хочешь. Любое описание. Опиши комнату. Или дом. Или какое-нибудь место, где ты жил. Что угодно, понимаешь? Лишь бы вышло живописно, черт его дери. — Тут он зевнул во весь рот. Вот от такого отношения у меня все кишки переворачивает! Понимаете — просит тебя сделать одолжение, а сам зевает вовсю! — Ты особенно не старайся! — говорит он. — Этот чертов Хартселл считает, что ты в английском собаку съел, а он знает, что мы с тобой вместе живем. Так ты уж не очень старайся правильно расставлять запятые и все эти знаки препинания.

От таких разговоров у меня начинается резь в животе. Человек умеет хорошо писать сочинения, а ему начинают говорить про запятые. Стрэдлейтер только так и понимал это. Он старался доказать, что не умеет писать исключительно из-за того, что не туда растыкивает запятые. Совсем как Экли — он тоже такой. Один раз я сидел рядом с Экли на баскетбольных со-

стязаниях. Там в команде был потрясающий игрок, Хови Койл, он мог забросить мяч с самой середины точно в корзину, даже щита не заденет. А Экли всю игру бубнил, что у Койла хороший рост для баскетбола — и все, понимаете? Ненавижу такую болтовню!

Наконец мне надоело сидеть на умывальнике, я соскочил и стал отбивать чечетку, просто для смеху. Хотелось поразмяться — а танцевать чечетку я совсем не умею. Но в умывальнике пол каменный, на нем очень здорово отбивать чечетку. Я стал подражать одному актеру из кино. Видел его в музыкальной комедии. Ненавижу кино до чертиков, но ужасно люблю изображать актеров. Стрэдлейтер все время смотрел на меня в зеркало, пока брился. А мне только подавай публику. Я вообще люблю выставляться.

— Я сын самого губернатора! — говорю. Вообще я тут стал стараться. Ношусь по всей умывалке. — Отец не позволяет мне стать танцором. Он посылает меня в Оксфорд. Но чечетка у меня в крови, черт подери!

Стрэдлейтер захохотал. У него все-таки было чувство юмора.

— Сегодня — премьера «Обозрения Зигфелда». — Я уже стал задыхаться. Дыхание у меня ни к черту. — Герой не может выступать! Пьян в стельку. Кого же берут на его место? Меня, вот кого! Меня — бедного, несчастного губернаторского сынка!

— Где ты отхватил такую шапку? — спросил Стрэдлейтер. Он только сейчас заметил мою охотничью шапку.

Я уже запыхался и перестал валять дурака. Снял шапку, посмотрел на нее в сотый раз.

— В Нью-Йорке купил сегодня утром. Заплатил доллар. Нравится?

Стрэдлейтер кивнул.

— Шик, — сказал он. Он просто ко мне подлизывался, сразу спросил: — Слушай, ты напишешь за меня сочинение или нет? Мне надо знать.

— Будет время — напишу, а не будет — не напишу. Я опять сел на умывальник рядом с ним.

— А с кем у тебя свидание? С Фицджеральд?

— Какого черта! Я с этой свиньей давно не вожусь.

— Ну? Так уступи ее мне, друг! Серьезно. Она в моем вкусе.

— Бери, пожалуйста! Только она для тебя староВата.

И вдруг просто так, без всякой причины, мне захотелось соскочить с умывальника и сделать дураку Стрэдлейтеру двойной нельсон. Сейчас объясню — это такой прием в борьбе, хватаешь противника за шею и ломаешь насмерть, если надо. Я и прыгнул. Прыгнул на него, как пантера!

— Брось, Холден, балда! — сказал Стрэдлейтер. Он не любил, когда валяли дурака. Тем более он брился. — Хочешь, чтоб я себе глотку перерезал?

Но я его не отпускал. Я его здорово сжал двойным нельсоном.

— Попробуй, — говорю, — вырвись из моей железной хватки!

— О черт! — Он положил бритву и вдруг вскинул руки и вырвался от меня. Он очень сильный. А я очень слабый. — Брось дурить! — сказал он. Он стал бриться второй раз. Он всегда бреется по второму разу, красоту наводит. А бритва у него грязная.

— С кем же у тебя свидание, если не с Фицджеральд? — спрашиваю. Я опять сел рядом с ним на умывальник. — С маленькой Филлис Смит, что ли?

— Нет. Должен был встретиться с ней, но все перепуталось. Меня ждет подруга девушки Бэда Тоу. Погоди, чуть не забыл. Она тебя знает.

— Кто меня знает?

— Моя девушка.

— Ну да! — сказал я. — А как ее зовут? — Мне даже стало интересно.

— Сейчас вспомню... Да, Джин Галлахер.

Господи, я чуть не сдох, когда услышал.

— Джейн Галлахер! — говорю. Я даже вскочил с умывальника, когда услышал. Честное слово, я чуть не сдох! — Ну конечно, я с ней знаком! Позапрошлым летом она жила совсем рядом. У нее еще был такой огромный доберман-пинчер. Мы из-за него и познакомились. Этот пес бегал гадить в наш сад.

— Ты мне свет застишь, Холден, — говорит Стрэдлейтер. — Отойди к бесу, места другого нет, что ли?

Ох, как я волновался, честное слово!

— Где же она? — спрашиваю. — Надо пойти с ней поздороваться. Где же она? В том крыле, да?

— Угу.

— Как это она меня вспомнила? Где она теперь учится — в Брин-Море? Она говорила, что, может быть, поступит туда. Или в Шипли, она говорила, что, может быть, пойдет в Шипли. Я думал, что она учится в Шипли. Как это она меня вспомнила? — Я и на самом деле волновался, правда!

— Да почем я знаю, черт возьми! Встань, слышишь?

Я сидел на его поганом полотенце.

— Джейн Галлахер! — сказал я. Я никак не мог опомниться. — Вот так история!

Стрэдлейтер припомаживал волосы бриолином. Моим бриолином.

— Она танцует, — сказал я. — Занимается балетом. Каждый день часа по два упражнялась, даже в самую жару. Боялась, что у нее ноги испортятся — растолстеет и все такое. Я с ней все время играл в шашки.

— Во что-о-о?

— В шашки.

— Фу-ты дьявол, он играл в шашки!!!

— Да, она никогда не переставляла дамки. Выйдет у нее какая-нибудь шашка в дамки, она ее с места не сдвинет. Так и оставит в заднем ряду. Выстроит все дамки в последнем ряду и ни одного хода не сделает. Ей просто нравилось, что они стоят в последнем ряду.

Стрэдлейтер промолчал. Вообще такие вещи обычно никого не интересуют.

— Ее мать была в том же клубе, что и мы, — сказал я. — Я там носил клюшки для гольфа, подрабатывал. Я несколько раз носил ее матери клюшки. Она на девяти ямках била чуть ли не сто семьдесят раз.

Стрэдлейтер почти не слушал. Он расчесывал свою роскошную шевелюру.

— Надо было бы пойти поздороваться с ней, что ли, — сказал я.

— Чего ж ты не идешь?

— Я и пойду через минутку.

Он стал снова делать пробор. Причесывался он всегда битый час.

— Ее мать развелась с отцом. Потом вышла замуж за какого-то алкоголика, — сказал я. — Худой такой черт, с волосатыми ногами. Я его хорошо помню. Все-

гда ходил в одних трусах. Джейн рассказывала, что он какой-то писатель, сценарист, что ли, черт его знает, но при мне он только пил, как лошадь, и слушал все эти идиотские детективы по радио. И бегал по всему дому голый. При Джейн, при всех.

— Ну? — сказал Стрэдлейтер. Тут он вдруг оживился, когда я сказал, что алкоголик бегал голый при Джейн. Ужасно распутная сволочь этот Стрэдлейтер.

— Детство у нее было страшное. Я серьезно говорю.

Но это его не интересовало, Стрэдлейтера. Он только всякой похабщиной интересовался.

— О черт! Джейн Галлахер! — Я никак не мог опомниться. Ну никак! — Надо бы хоть поздороваться с ней, что ли.

— Какого же черта ты не идешь? Стоит тут, болтает.

Я подошел к окну, но ничего не было видно, окна запотели от жары.

— Я не в настроении сейчас, — говорю. И на самом деле я был совсем не в настроении. А без настроения ничего делать нельзя. — Я думал, что она поступила в Шипли. Готов был поклясться, что она учится в Шипли. — Я походил по умывалке. — Понравился ей футбол? — спрашиваю.

— Да, как будто. Не знаю.

— Она тебе рассказывала, как мы с ней играли в шашки, вообще рассказывала что-нибудь?

— Не помню я. Мы только что познакомились, не приставай! — Стрэдлейтер уже расчесал свои роскошные кудри и складывал грязную бритву.

— Слушай, передай ей от меня привет, ладно?

— Ладно, — сказал Стрэдлейтер, но я знаю, что он ничего не передаст. Такие, как Стрэдлейтер, никогда не передают приветов.

Он пошел в нашу комнату, а я еще поторчал в умывалке, вспомнил старушку Джейн. Потом тоже пошел в комнату.

Стрэдлейтер завязывал галстук перед зеркалом, когда я вошел. Он полжизни проводил перед зеркалом. Я сел в свое кресло и стал на него смотреть.

— Эй, — сказал я, — ты ей только не говори, что меня вытурили.

— Не скажу.

У Стрэдлейтера была одна хорошая черта. Ему не приходилось объяснять каждую мелочь, как, например, Экли. Наверно, потому, что Стрэдлейтеру было на все плевать. А Экли — дело другое. Тот во все совал свой длинный нос.

Стрэдлейтер надел мою куртку.

— Не растягивай ее, слышишь? — сказал я. — Я ее всего раза два и надевал.

— Не растяну. Куда девались мои сигареты?

— Вон на столе... — Он никогда не знал, где что лежит. — Под твоим шарфом. — Он сунул сигареты в карман куртки — моей куртки.

Я вдруг перевернул свою красную шапку по-другому, козырьком вперед. Что-то я начинал нервничать. Нервы у меня вообще ни к черту.

— Скажи, а куда ты с ней поедешь? — спросил я. — Ты уже решил?

— Сам не знаю. Если будет время, поедем в Нью-Йорк. Она по глупости взяла отпуск только до половины десятого.

Мне не понравилось, как он это сказал, я ему и говорю:

— Она взяла отпуск только до половины десятого, потому что не разглядела, какой ты красивый и обаятельный, сукин ты сын. Если б она разглядела, она взяла бы отпуск до половины десятого утра!

— И правильно! — сказал Стрэдлейтер. Его ничем не подденешь. Слишком он воображает. — Брось темнить, — говорит, — напишешь ты за меня сочинение или нет? — Он уже надел пальто и собрался уходить. — Особенно не старайся, пусть только будет живописно, понял? Напишешь?

Я ему не ответил. Настроения не было. Я только сказал:

— Спроси ее, она все еще расставляет дамки в последнем ряду?

— Ладно, — сказал Стрэдлейтер, но я знал, что он не спросит. — Ну пока! — Он хлопнул дверью и смылся.

А я сидел еще с полчаса. Просто сидел в кресле, ни черта не делал. Все думал о Джейн и о том, что у нее свидание со Стрэдлейтером. Я так нервничал, чуть с ума не спятил. Я вам уже говорил, какой он похабник, сволочь такая.

И вдруг Экли опять вылез из душевой в нашу комнату. В первый раз за всю здешнюю жизнь я ему обрадовался. Отвлек меня от разных мыслей.

Сидел он у меня до самого обеда, говорил про ребят, которых ненавидит, и ковырял громадный прыщ у себя на подбородке. Пальцами, без носового платка. Не знаю, был ли у этой скотины носовой платок. Никогда не видел у него платка.

# 5

По субботам у нас всегда бывал один и тот же обед. Считалось, что обед роскошный, потому что давали бифштекс.

Могу поставить тысячу долларов, что кормили они нас бифштексом потому, что по воскресеньям к ребятам приезжали родители, и старик Термер, вероятно, представлял себе, как чья-нибудь мамаша спросит своего дорогого сыночка, что ему вчера давали на обед, и он скажет — бифштекс. Все это жульничество. Вы бы посмотрели на эти бифштексы. Жесткие как подметка, нож не берет. К ним всегда подавали картофельное пюре с комками, а на сладкое — «рыжую Бетти», пудинг с патокой, только его никто не ел, кроме малышей из первых классов да таких, как Экли, которые на все накидывались.

После обеда мы вышли на улицу, погода была славная. Снег лежал на земле дюйма на три и все еще сыпал как оголтелый. Красиво было до чертиков. Мы начали играть в снежки и тузить друг друга. Ребячество, конечно, но всем стало очень весело.

Делать мне было нечего, и мы с моим приятелем, с Мэлом Броссаром из команды борцов, решили поехать на автобусе в Эгерстаун съесть по котлете, а может быть, и посмотреть какой-нибудь дурацкий фильм. Не хотелось весь вечер торчать дома. Я спросил Мэла — ничего, если Экли тоже поедет с нами? Я решил позвать Экли, потому что он даже по субботам никуда не ходил, сидел дома и давил прыщи. Мэл сказал, что это, конечно, ничего, хотя он и не в восторге. Он не очень любил этого Экли. Словом, мы пошли к себе одеваться, и, пока я надевал калоши и прочее, я крикнул Экли, не хочет

ли он пойти в кино. Он меня слышал через душевую, но ответил не сразу. Такие, как он, сразу не отвечают. Наконец он появился, раздвинул занавеску душевой, стал на пороге и спрашивает, кто еще пойдет. Ему обязательно нужно было знать, кто да кто идет. Честное слово, если б он потерпел кораблекрушение и какая-нибудь лодка пришла его спасать, он, наверно, потребовал бы, чтоб ему сказали, кто гребет на этой самой лодке, — иначе он и не полез бы в нее. Я сказал, что едет Мэл Броссар. А он говорит:

— Ах, этот подонок... Ну ладно. Подожди меня минутку.

Можно было подумать, что он тебе делает величайшее одолжение.

Одевался он часов пять. А я пока что подошел к окну, открыл его настежь и слепил снежок. Снег очень хорошо лепился. Но я никуда не швырнул снежок, хоть и собрался его бросить. Сначала я хотел бросить в машину — она стояла через дорогу. Но потом передумал — машина вся была такая чистая, белая. Потом хотел залепить снежком в водокачку, но она тоже была чистая и белая. Так я снежок никуда и не кинул. Закрыл окно и начал его катать, чтоб он стал еще тверже. Я его еще держал в руках, когда мы с Броссаром и Экли сели в автобус. Кондуктор открыл дверцу и велел мне бросить снежок. Я сказал, что не собираюсь ни в кого кидать, но он мне не поверил. Никогда тебе люди не верят.

И Броссар, и Экли уже видели этот фильм, так что мы съели по котлете, поиграли в рулетку-автомат, а потом поехали обратно в школу. Я не жалел, что мы не пошли в кино. Там шла какая-то комедия с Кэри Грантом — муть, наверно. А потом я уж как-то ходил

в кино с Экли и Броссаром. Они оба гоготали, как гиены, даже в несмешных местах. Мне и сидеть с ними рядом было противно.

Было всего без четверти десять, когда мы вернулись в общежитие. Броссар обожал бридж и пошел искать партнера. Экли, конечно, влез ко мне в комнату. Только теперь он сел не на ручку стрэдлейтеровского кресла, а плюхнулся на мою кровать, прямо лицом в подушку. Лег и завел волынку, а сам все время ковырял прыщи. Я раз сто ему намекал, но никак не мог от него отделаться. Он все говорил и говорил, монотонным таким голосом, про какую-то девчонку, с которой он путался прошлым летом. Он мне про это рассказывал раз сто, и каждый раз по-другому. То он с ней спутался в «бьюикс» своего кузена, то где-то в подъезде. Главное, все это было вранье. Ручаюсь, что он женщин не знал, это сразу было видно. Наверно, он и не дотрагивался ни до кого, честное слово. В общем, мне пришлось откровенно ему сказать, что мне надо писать сочинение за Стрэдлейтера и чтоб он выметался, а то я не могу сосредоточиться. В конце концов он ушел, только не сразу — он ужасно всегда канителится. А я надел пижаму, халат и свою дикую охотничью шапку и сел писать сочинение.

Беда была в том, что я никак не мог придумать, про какую комнату или дом можно написать живописно, как задали Стрэдлейтеру. Вообще я не особенно люблю описывать всякие дома и комнаты. Я взял и стал описывать бейсбольную рукавицу моего братишки Алли. Эта рукавица была очень живописная, честное слово. У моего брата, у Алли, была бейсбольная рукавица на левую руку. Он был левша. А живописная она была потому, что он всю ее исписал стихами — и ладонь, и кругом, везде. Зелеными чер-

нилами. Он написал эти стихи, чтобы можно было их читать, когда мяч к нему не шел и на поле нечего было делать. Он умер. Заболел белокровием и умер 18 июля 1946 года, когда мы жили в Мейне. Он вам понравился бы. Он был моложе меня на два года, но раз в пятьдесят умнее. Ужасно был умный. Его учителя всегда писали маме, как приятно, что у них в классе учится такой мальчик, как Алли. И они не врали, они и на самом деле так думали. Но он не только был самый умный в нашей семье. Он был и самый хороший, во многих отношениях. Никогда он не разозлится, не вспылит. Говорят, рыжие чуть что — начинают злиться, но Алли никогда не злился, а он был ужасно рыжий. Я вам расскажу, до чего он был рыжий. Я начал играть в гольф с десяти лет. Помню, как-то весной, когда мне уже было лет двенадцать, я гонял мяч, и все время у меня было такое чувство, что стоит мне обернуться — и я увижу Алли. И я обернулся и вижу: так оно и есть — сидит он на своем велосипеде за забором, который шел вокруг всего поля, — сидит там, ярдов за сто пятьдесят от меня, и смотрит, как я бью. Вот до чего он был рыжий! И ужасно славный, ей-богу. Ему иногда за столом что-нибудь придет в голову, и он вдруг как начнет хохотать, прямо чуть не падал со стула. Тогда мне было тринадцать лет, и родители хотели показать меня психиатру, потому что я перебил все окна в гараже. Я их понимаю, честное слово. В ту ночь, как Алли умер, я ночевал в гараже и перебил дочиста все стекла, просто кулаком, не знаю зачем. Я даже хотел выбить стекла в машине — в то лето у нас был пикап, — но уже разбил себе руку и ничего не мог. Я понимаю, что это было глупо, но я сам не соображал, что делаю, а кроме того, вы не знаете, какой был Алли. У меня до сих пор иногда

болит рука, особенно в дождь, и кулак я не могу сжать крепко, как следует, но, в общем, это ерунда. Все равно я не собираюсь стать ни каким-то там хирургом, ни скрипачом, вообще никем таким.

Вот об этом я и написал сочинение для Стрэдлейтера. О бейсбольной рукавице нашего Алли. Она случайно оказалась у меня в чемодане, я ее вытащил и переписал все стихи, которые на ней были. Мне только пришлось переменить фамилию Алли, чтоб никто не догадался, что он мой брат, а не Стрэдлейтера. Мне не особенно хотелось менять фамилию, но я не мог придумать ничего другого. А кроме того, мне даже нравилось писать про это. Сидел я битый час, потому что пришлось писать на дрянной машинке Стрэдлейтера, и она все время заедала. А свою машинку я одолжил одному типу в другом коридоре.

Кончил я около половины одиннадцатого. Но не особенно устал и начал глядеть в окошко. Снег перестал, издали слышался звук мотора, который никак не заводился. И еще слышно было, как храпел Экли. Даже сквозь душевую был слышен его противный храп. У него был гайморит, и он не мог во сне дышать как следует. Все у него было: и гайморит, и прыщи, и гнилые зубы — изо рта пахнет, ногти ломаются. Даже как-то жаль его, дурака.

## 6

Бывает, что нипочем не можешь вспомнить, как это было. Я все думаю — когда же Стрэдлейтер вернулся со свидания с Джейн? Понимаете, я никак не вспомню, что я делал, когда вдруг услышал его шаги в коридоре, наглые, громкие. Наверно, я все еще смот-

рел в окно, но вспомнить точно не могу, хоть убей. Ужасно я волновался, потому и не могу вспомнить, как было. А уж если я волнуюсь, так это не притворство. Мне даже хочется в уборную, когда я волнуюсь. Но я не иду. Волнуюсь, оттого и не иду. Никак не перестану волноваться — и никуда не иду. Если бы вы знали Стрэдлейтера, вы бы тоже волновались. Я раза два ходил вместе с этим подлецом на свидания. Я знаю, про что говорю. У него совести нет ни капли, ей-богу; нет.

А в коридоре у нас — сплошной линолеум, так что издали было слышно, как он, мерзавец, подходит к нашей комнате. Я даже не помню, где я сидел, когда он вошел, — в своем кресле, или у окна, или в его кресле. Честное слово, не могу вспомнить.

Он вошел и сразу стал жаловаться, какой холод. Потом спрашивает:

— Куда, к черту, все пропали? Ни живой души — форменный морг.

Я ему и не подумал отвечать. Если он, болван, не понимает, что в субботу вечером все ушли, или спят, или уехали к родным, чего ради мне лезть вон из кожи объяснять ему. Он стал раздеваться. А про Джейн — ни слова. Ни единого словечка. И я молчу. Только смотрю на него. Правда, он меня поблагодарил за куртку. Надел ее на плечики и повесил в шкаф.

А когда он развязывал галстук, спросил меня, написал ли я за него это дурацкое сочинение. Я сказал, что вон оно, на его собственной кровати. Он подошел и стал читать, пока расстегивал рубаху. Стоит читает, а сам гладит себя по голой груди с самым идиотским выражением лица. Вечно он гладил себя то по груди, то по животу. Он себя просто обожал.

И вдруг говорит:

— Что за чертовщина, Холден? Тут про какую-то дурацкую рукавицу!

— Ну так что же? — спрашиваю я. Ледяным голосом.

— То есть как это — что же? Я же тебе говорил, надо описать комнату или дом, балда!

— Ты сказал, нужно какое-нибудь описание. Не все ли равно, что описывать — рукавицу или еще что?

— Эх, черт бы тебя подрал! — Он разозлился не на шутку. Просто рассвирепел. — Все ты делаешь через ж... кувырком. — Тут он посмотрел на меня. — Ничего удивительного, что тебя отсюда выкинули, — говорит. — Никогда ты ничего не сделаешь по-человечески. Никогда! Понял?

— Ладно, ладно, отдай листок! — говорю. Подошел, выхватил у него этот треклятый листок, взял и разорвал.

— Что за черт? — говорит. — Зачем ты разорвал?

Я ему даже не ответил. Бросил клочки в корзину, и все. Потом лег на кровать, и мы оба долго молчали. Он разделся, остался в трусах, а я закурил, лежа на кровати. Курить в спальнях не полагается, но поздно вечером, когда одни спят, а другие ушли, никто не заметит, что пахнет дымом. И потом мне хотелось позлить Стрэдлейтера. Он из себя выходил, когда нарушали правила. Сам он никогда в спальне не курил. А я курил.

Так он и не сказал ни единого словечка про Джейн, ничего. Тогда я сам заговорил:

— Поздно же ты явился, черт побери, если ее отпустили только до девяти тридцати. Она из-за тебя не опоздала, вернулась вовремя?

Он сидел на краю своей койки и стриг ногти на ногах, когда я с ним заговорил.

— Самую малость опоздала, — говорит. — А какого черта ей было отпрашиваться только до половины десятого, да еще в субботу?

О господи, как я его ненавидел в эту минуту!

— В Нью-Йорк ездили? — спрашиваю.

— Ты спятил? Как мы могли попасть в Нью-Йорк, если она отпросилась только до половины десятого?

— Жаль, жаль! — сказал я.

Он посмотрел на меня.

— Слушай, если тебе хочется курить, шел бы ты в уборную. Ты-то отсюда выметаешься, а мне торчать в школе, пока не окончу.

Я на него даже внимания не обратил, будто его и нет. Курю как сумасшедший, и все. Только повернулся на бок и смотрю, как он стрижет свои подлые ногти. Да, ничего себе школа! Вечно при тебе то прыщи давят, то ногти на ногах стригут.

— Ты ей передал от меня привет? — спрашиваю.

— Угу.

Черта лысого он передал, подонок!

— А что она сказала? Ты ее спросил, она по-прежнему ставит все дамки в последний ряд?

— Нет. Не спросил. Что мы с ней — в шашки играли весь вечер, как, по-твоему?

Я ничего ему не ответил. Господи, как я его ненавидел!

— Раз вы не ездили в Нью-Йорк, где же вы с ней были? — спросил я немного погодя. Я ужасно старался, чтоб голос у меня не дрожал, как студень. Нервничал я здорово. Видно, чувствовал, что что-то неладно.

Он наконец обрезал ногти. Встал с кровати в одних трусиках и вдруг начал дурака валять. Подошел ко мне, нагнулся и стал меня толкать в плечо — играет, гад.

— Брось, — говорю, — куда же вы девались, раз вы не поехали в Нью-Йорк?

— Никуда. Сидели в машине, и все! — Он опять стал толкать меня в плечо, дурак такой.

— Брось! — говорю. — В чьей машине?

— Эда Бэнки.

Эд Бэнки был наш тренер по баскетболу. Этот Стрэдлейтер ходил у него в любимчиках, он играл центра в школьной команде, и Эд Бэнки всегда давал ему свою машину. Вообще ученикам не разрешалось брать машину у преподавателей, но эти скоты спортсмены всегда заодно. Во всех школах, где я учился, эти скоты заодно.

А Стрэдлейтер все делал вид, будто боксирует с тенью, все толкает меня в плечо и толкает. В руках у него была зубная щетка, и он сунул ее в рот.

— Что ж вы с ней делали? Путались в машине Эда Бэнки? — Голос у меня дрожал просто ужас до чего.

— Ай-ай-ай, какие гадкие слова! Вот я сейчас намажу тебе язык мылом!

— Было дело?

— Это профессиональная тайна, братец мой!

Дальше я что-то не очень помню. Знаю только, что я вскочил с постели, как будто мне понадобилось кое-куда, и вдруг ударил его со всей силы, прямо по зубной щетке, чтобы она разодрала его подлую глотку. Только не попал. Промахнулся. Стукнул его по голове, и все. Наверно, ему было больно, но не так, как мне хотелось. Я бы его мог ударить больнее, но

бил я правой рукой. А я ее как следует не могу сжать. Помните, я вам говорил, как я разбил эту руку.

Но тут я очутился на полу, а он сидел на мне красный как рак. Понимаете, уперся коленями мне в грудь, а весил он целую тонну. Руки мне зажал, чтоб я его не ударил. Убил бы я его, подлеца.

— Ты что, спятил, спятил? — повторяет, а морда у него все краснее и краснее, у болвана.

— Пусти, дурак! — говорю. Я чуть не ревел, честное слово. — Уйди от меня, сволочь поганая, слышишь?

А он не отпускает. Держит мои руки, а я его обзываю сукиным сыном и всякими словами часов десять подряд. Я даже не помню, что ему говорил. Я ему сказал, что он воображает, будто он может путаться с кем ему угодно. Я ему сказал, что ему безразлично, переставляет девчонка шашки или нет, и вообще ему все безразлично, потому что он идиот и кретин. Он ненавидел, когда его обзывали кретином. Все кретины ненавидят, когда их называют кретинами.

— Ну-ка, замолчи, Холден! — говорит, а рожа у самого глупая, красная. — Замолчи, слышишь?

— Ты даже не знаешь, как ее зовут — Джин или Джейн, кретин несчастный!

— Замолчи, Холден, тебе говорят, черт подери! — Я его таки вывел из себя. — Замолчи, или я тебе так врежу!

— Сними с меня свои вонючие коленки, болван, идиот!

— Я тебя отпущу — только замолчи! Замолчишь?

Я ему не ответил.

Он опять сказал:

— Если отпущу, ты замолчишь?

— Да.

Он слез с меня, и я тоже встал. От его паршивых коленок у меня вся грудь болела.

— Все равно ты кретин, слабоумный идиот, сукин сын! — говорю.

Тут он совсем взбесился. Тычет мне под нос свой толстый палец, кретин этакий, грозит:

— Холден, в последний раз предупреждаю, если ты не заткнешь глотку, я тебе как дам...

— А чего мне молчать? — спрашиваю, а сам уже ору на него: — В том-то и беда с вами, кретинами. Вы и поговорить по-человечески не можете. Кретина за сто миль видно: он даже поговорить не умеет...

Тут он развернулся по-настоящему, и я опять очутился на полу. Не помню, потерял я сознание или нет, по-моему, нет. Человека очень трудно нокаутировать — это только в кино легко. Но кровь у меня текла из носу отчаянно. Когда я открыл глаза, дурак Стрэдлейтер стоял прямо надо мной. У него в руках был умывальный прибор.

— Я же тебя предупреждал, — говорит. Видно, он здорово перепугался, боялся, должно быть, что я разбил голову, когда грохнулся на пол. Жаль, что я не разбился. — Сам виноват, черт проклятый! — говорит. Ух, и перепугался же он!

А я и не встал. Лежу на полу и ругаю его идиотом, сукиным сыном. Так был зол на него, что чуть не ревел.

— Слушай, пойди-ка умойся! — говорит он. — Слышишь?

А я ему говорю, пусть сам пойдет умоет свою подлую рожу — конечно, это было глупо, ребячество так

говорить, но уж очень я был зол, пусть, говорю, сам пойдет, а по дороге в умывалку пусть шпокнет миссис Шмит. А миссис Шмит была жена нашего швейцара, старуха лет под семьдесят.

Так я и сидел на полу, пока дурак Стрэдлейтер не ушел. Я слышал, как он идет по коридору в умывалку. Тогда я встал. И никак не мог отыскать эту треклятую шапку. Потом все-таки нашел. Она закатилась под кровать. Я ее надел, повернул козырьком назад — мне так больше нравилось — и посмотрел на свою дурацкую рожу в зеркало. Никогда в жизни я не видел столько кровищи! Весь рот у меня был в крови и подбородок, даже вся пижама и халат. Мне и страшно было, и интересно. Вид у меня от этой крови был какой-то прожженный. Я и дрался-то всего раза два в жизни и оба раза неудачно. Из меня драчун плохой. Я вообще пацифист, если уж говорить всю правду.

Мне казалось, что Экли не спит и все слышит. Я прошел через душевую в его комнату посмотреть, что он там делает. Я к нему редко заходил. У него всегда чем-то воняло — уж очень он был нечистоплотный.

## 7

Через занавески в душевой чуть-чуть пробивался свет из нашей комнаты, и я видел, что он лежит в постели. Но я отлично знал, что он не спит.

— Экли? — говорю. — Ты не спишь?

— Нет.

Было темно, и я споткнулся о чей-то башмак и чуть не полетел через голову. Экли приподнялся на подушке, оперся на локоть. У него все лицо было на-

мазано чем-то белым от прыщей. В темноте он был похож на привидение.

— Ты что делаешь? — спрашиваю.

— То есть как это — что я делаю? Хотел уснуть, а вы, черти, подняли тарарам. Из-за чего вы дрались?

— Где тут свет? — Я никак не мог найти выключатель. Шарил по всей стене — ну никак.

— А зачем тебе свет?.. Ты руку держишь у выключателя.

Я нашел выключатель и зажег свет. Экли заслонил лицо рукой, чтоб свет не резал ему глаза.

— О ч-черт! — сказал он. — Что с тобой? — Он увидел на мне кровь.

— Поцапались немножко со Стрэдлейтером, — говорю. Потом сел на пол. Никогда у них в комнате не было стульев. Не знаю, что они с ними делали. — Слушай, хочешь, сыграем разок в канасту? — говорю. Он страшно увлекался канастой.

— Да у тебя до сих пор кровь идет! Ты бы приложил что-нибудь.

— Само пройдет. Ну как, сыграем в канасту или нет?

— С ума сошел — канаста! Да ты знаешь, который час?

— Еще не поздно. Часов одиннадцать, полдвенадцатого!

— Это, по-твоему, не поздно? — говорит Экли. — Слушай, мне завтра вставать рано, я в церковь иду, черт подери! А вы, дьяволы, подняли бучу среди ночи. Хоть скажи, из-за чего вы подрались?

— Долго рассказывать. Тебе будет скучно слушать, Экли. Видишь, как я о тебе забочусь! — Я с ним никогда не говорил о своих личных делах. Во-первых, он был еще глупее Стрэдлейтера. Стрэдлейтер по срав-

нению с ним был настоящий гений. — Знаешь что, — говорю, — можно мне эту ночь спать на кровати Эла? Он до завтрашнего вечера не вернется.

— А черт его знает, когда он вернется, — говорит Экли.

Я знал, что Эл не вернется. Он каждую субботу уезжал домой.

— А черт его знает, когда он вернется, — говорит Экли.

Фу, до чего он мне надоел!

— То есть как это? — говорю. — Ты же знаешь, что он в воскресенье до вечера никогда не приезжает.

— Знаю, но как я могу сказать — спи, пожалуйста, на его кровати! Разве полагается так делать?

Убил! Я протянул руку, все еще сидя на полу, и похлопал его, дурака, по плечу.

— Ты — принц, Экли, детка, — говорю. — Ты знаешь это или нет?

— Нет, правда, не могу же я просто сказать человеку — спи на чужой кровати.

— Ты — настоящий принц. Ты — джентльмен и ученый, дитя мое! — сказал я. А может быть, он и был ученый. — У тебя, случайно, нет сигарет? Если нет — я умру!

— Нет у меня ничего. Слушай, из-за чего началась драка?

Но я ему не ответил. Я только встал и подошел к окну. Мне вдруг стало так тоскливо. Подохнуть хотелось, честное слово.

— Из-за чего же вы подрались? — в который раз спросил Экли. Он мог душу вымотать из человека.

— Из-за тебя, — говорю.

— Что за черт? Как это из-за меня?

— Да, я защищал твою честь. Стрэдлейтер сказал, что ты гнусная личность. Не мог же я ему спустить такую дерзость!

Он как подскочит!

— Нет, ей-богу? Это правда? Он так и сказал?

Но тут я ему объяснил, что шучу, а потом лег на кровать Эла. Ох, до чего же мне было плохо! Такая тоска, ужасно.

— У вас тут воняет, — говорю. — Отсюда слышно, как твои носки воняют. Ты их отдаешь в стирку или нет?

— Не нравится — иди знаешь куда! — сказал Экли. Вот ума палата! — Может быть, потушишь свет, черт возьми?

Но я не сразу потушил. Я лежал на чужой кровати и думал про Джейн и про все, что было. Я просто с ума сходил, как только представлял себе ее со Стрэдлейтером в машине этого толстозадого Эда Бэнки. Как подумаю — так хочется выброситься в окошко. Вы-то не знаете Стрэдлейтера, вам ничего, а я его знаю. Все ребята в Пэнси только трепались, что путаются с девчонками, как Экли, например, а вот Стрэдлейтер и вправду путался. Я сам был знаком с двумя девицами, с которыми он путался. Верно говорю.

— Расскажи мне свою биографию, Экли, детка, наверно, это увлекательно! — говорю.

— Да потуши ты этот чертов свет! Мне завтра утром в церковь, понимаешь?

Я встал, потушил свет — раз ему так хочется. Потом опять лег на кровать Эла.

— Ты что — собираешься спать тут? — спросил Экли. Да, радушный хозяин, ничего не скажешь.

— Не знаю. Может быть. Не волнуйся.

— Да я не волнуюсь, только будет ужасно неприятно, если Эл вдруг вернется, а у него на кровати спят...

— Успокойся. Не буду я тут спать. Не бойся, не злоупотреблю твоим гостеприимством.

Минуты через две он уже храпел как оголтелый. А я лежал в темноте и старался не думать про Джейн и Стрэдлейтера в машине этого проклятого Эда Бэнки. Но я не мог не думать. Плохо то, что я знал, какой подход у этого проклятого Стрэдлейтера. Мне от этого становилось еще хуже. Один раз мы с ним оба сидели с девушками в машине того же Эда. Стрэдлейтер со своей девушкой сидел сзади, а я — впереди. Ох, и подход у него был, у этого черта! Он начинал с того, что охмурял свою барышню этаким тихим, нежным, ужасно искренним голосом, как будто он был не только очень красивый малый, но еще и хороший, искренний человек. Меня чуть не стошнило, когда я услышал, как он разговаривает. Девушка все повторяла: «Нет, не надо... Пожалуйста, не надо. Не надо...» Но Стрэдлейтер все уговаривал ее, голос у него был, как у президента Линкольна, ужасно честный, искренний, и вдруг наступила жуткая тишина. Страшно неловко. Не знаю, спутался он в тот раз с этой девушкой или нет. Но к тому шло. Безусловно, шло.

Я лежал и старался не думать и вдруг услышал, что этот дурак Стрэдлейтер вернулся из умывалки в нашу комнату. Слышно было, как он убирает свои поганые мыльницы и щетки и открывает окно. Он обожал свежий воздух. Потом он потушил свет. Он и не взглянул, тут я или нет.

Даже за окном было тоскливо. Ни машин, ничего. Мне стало так одиноко, так плохо, что я решил разбудить Экли.

— Эй, Экли! — сказал я шепотом, чтобы Стрэдлейтер не услыхал.

Но Экли ничего не слышал.

— Эй, Экли!

Он ничего не слышал. Спал как убитый.

— Эй, Экли!

Тут он наконец услыхал.

— Кой черт тебя укусил? — говорит. — Я только что уснул.

— Слушай, как это поступают в монастырь? — спрашиваю я. Мне вдруг вздумалось уйти в монастырь. — Надо быть католиком или нет?

— Конечно, надо. Свинья ты, неужели ты меня только для этого и разбудил?

— Ну ладно, спи! Все равно я в монастырь не уйду. При моем невезении я обязательно попаду не к тем монахам. Наверно, там будут одни кретины. Или просто подонки.

Только я это сказал, как Экли вскочил словно ошпаренный.

— Знаешь что, — говорит, — можешь болтать про меня что угодно, но, если ты начнешь острить насчет моей религии, черт побери...

— Успокойся, — говорю, — никто твою религию не трогает, хрен с ней.

Я встал с чужой кровати, пошел к двери. Не хотелось больше оставаться в этой духоте. Но по дороге я остановился, взял Экли за руку и нарочно торжественно пожал ее. Он выдернул руку.

— Это еще что такое?

— Ничего. Просто хотел поблагодарить тебя за то, что ты настоящий принц, вот и все! — сказал я, и голос у меня был такой искренний, честный. — Ты

молодчина, Экли, детка, — сказал я. — Знаешь, какой ты молодчина?

— Умничай, умничай! Когда-нибудь тебе разобьют башку...

Но я не стал его слушать. Захлопнул дверь и вышел в коридор.

Все спали, а кто уехал домой на воскресенье, и в коридоре было очень-очень тихо и уныло. У дверей комнаты Леги и Гофмана валялась пустая коробка изпод зубной пасты «Колинос», и по дороге на лестницу я ее все время подкидывал носком, на мне были домашние туфли на меху. Сначала я подумал, не пойти ли мне вниз, дай, думаю, посмотрю, как там мой старик, Мэл Броссар, Но вдруг передумал. Вдруг я решил, что мне делать: надо выкатываться из Пэнси сию же минуту. Не ждать никакой среды — и все. Ужасно мне не хотелось тут торчать. Очень уж стало грустно и одиноко. И я решил сделать вот что — снять номер в каком-нибудь отеле в Нью-Йорке, в недорогом, конечно, и спокойно пожить там до среды. А в среду вернуться домой: к среде я отдохну как следует и настроение будет хорошее. Я рассчитал, что мои родители получат письмо от старика Термера насчет того, что меня вытурили, не раньше вторника или среды. Не хотелось возвращаться домой, пока они не получат письмо и не переварят его. Не хотелось смотреть, как они будут читать все это в первый раз. Моя мама сразу впадает в истерику. Потом, когда она переварит, тогда уже ничего. А мне надо было отдохнуть. Нервы у меня стали ни к черту. Честное слово, ни к черту.

Словом, так я и решил. Вернулся к себе в комнату, включил свет, стал укладываться. У меня уже по-

чти все было уложено. А этот Стрэдлейтер и не проснулся. Я закурил, оделся, потом сложил оба свои чемодана. Минуты за две все сложил. Я очень быстро укладываюсь.

Одно меня немножко расстроило, когда я укладывался. Пришлось уложить новые коньки, которые мама прислала мне чуть ли не накануне. Я расстроился, потому что представил себе, как мама пошла в спортивный магазин, стала задавать продавцу миллион чудацких вопросов — а тут меня опять вытурили из школы! Как-то грустно стало. И коньки она купила не те — мне нужны были беговые, а она купила хоккейные, — но все равно мне стало грустно. И всегда так выходит — мне дарят подарки, а меня от этого только тоска берет.

Я все уложил, пересчитал деньги. Не помню, сколько у меня оказалось, но, в общем, порядочно. Бабушка как раз прислала мне на прошлой неделе перевод. Есть у меня бабушка, она денег не жалеет. У нее, правда, не все дома — ей лет сто, и она посылает мне деньги на день рождения раза четыре в год. Но хоть денег у меня было порядочно, я все-таки решил, что лишний доллар не помешает. Пошел в конец коридора, разбудил Фредерика Удрофа, того самого, которому я одолжил свою машинку. Я его спросил, сколько он мне даст за нее. Он был из богатых. Он говорит — не знаю. Говорит — я не собирался ее покупать. Но все-таки купил. Стоила она что-то около девяноста долларов, а он ее купил за двадцать. Да еще злился, что я его разбудил.

Когда я совсем собрался, взял чемоданы и все, что надо, я остановился около лестницы и на прощание посмотрел на этот наш коридор. Кажется, я

всплакнул. Сам не знаю почему. Но потом надел свою охотничью шапку по-своему, задом наперед, и заорал во всю глотку:

— Спокойной ночи, кретины!

Ручаюсь, что я разбудил всех этих ублюдков! Потом побежал вниз по лестнице. Какой-то болван набросал ореховой скорлупы, и я чуть не свернул себе шею ко всем чертям.

## 8

Вызывать такси оказалось поздно, пришлось идти на станцию пешком. Вокзал был недалеко, но холод стоял собачий, и по снегу идти было трудно, да еще чемоданы стукали по ногам, как нанятые. Но дышать было приятно. Плохо только, что от холодного воздуха саднили нос и верхняя губа — меня по ней двинул Стрэдлейтер. Он мне разбил губу об зубы, это здорово больно. Зато ушам было тепло. На этой моей шапке были наушники, и я их опустил. Плевать мне было, какой у меня вид. Все равно кругом ни души. Все давно храпели.

Мне повезло, когда я пришел на вокзал. Я ждал поезда всего десять минут. Пока ждал, я набрал снегу и вытер лицо.

Вообще я люблю ездить поездом, особенно ночью, когда в вагоне светло, а за окном темень и по вагону разносят кофе, сандвичи и журналы. Обычно я беру сандвич с ветчиной и штуки четыре журналов. Когда едешь ночью в вагоне, можно без особого отвращения читать даже идиотские рассказы в журналах. Вы знаете какие. Про всяких показных типов с

квадратными челюстями по имени Дэвид и показных красоток, которых зовут Линда или Марсия, они еще всегда зажигают этим Дэвидам их дурацкие трубки. Ночью в вагоне я могу читать даже такую дрянь. Но тут не мог. Почему-то неохота было читать. Я просто сидел и ничего не делал. Только снял свою охотничью шапку и сунул в карман.

И вдруг в Трентоне вошла дама и села рядом со мной. Вагон был почти пустой, время позднее, но она все равно села рядом со мной, а не на пустую скамью, потому что я сидел на переднем месте, а у нее была громадная сумка. И она выставила эту сумку прямо в проход, так что кондуктор или еще кто мог об нее споткнуться. Должно быть, она ехала с какого-нибудь приема или бала — на платье были орхидеи. Лет ей, вероятно, было около сорока — сорока пяти, но она была очень красивая. Я от женщин балдею. Честное слово. Нет, я вовсе не в том смысле, вовсе я не такой бабник, хотя я довольно-таки впечатлительный. Просто они мне нравятся. И вечно они ставят свои дурацкие сумки посреди прохода.

Сидим мы так, и вдруг она говорит:

— Простите, но, кажется, это наклейка школы Пэнси?

Она смотрела наверх, на сетку, где лежали мои чемоданы.

— Да, — говорю я. И правда: у меня на одном чемодане действительно осталась школьная наклейка. Дешевка, ничего не скажешь.

— Ах, значит, вы учитесь в Пэнси? — говорит она. У нее был очень приятный голос. Такой хорошо звучит по телефону. Ей бы возить с собой телефончик.

— Да, я там учусь, — говорю.

— Как приятно! Может быть, вы знаете моего сына? Эрнест Морроу — он тоже учится в Пэнси.

— Знаю. Он в моем классе.

А сын ее был самый что ни на есть последний гад во всей этой мерзкой школе. Всегда он после душа шел по коридору и бил всех мокрым полотенцем. Вот какой гад.

— Ну, как мило! — сказала дама. И так просто, без кривлянья. Она была очень приветливая. — Непременно скажу Эрнесту, что я вас встретила. Как ваша фамилия, мой дружок?

— Рудольф Шмит, — говорю. Не хотелось рассказывать ей всю свою биографию. А Рудольф Шмит был старик швейцар в нашем корпусе.

— Нравится вам Пэнси? — спросила она.

— Пэнси? Как вам сказать... Там неплохо. Конечно, это не рай, но там не хуже, чем в других школах. Преподаватели там есть вполне добросовестные.

— Мой Эрнсст просто обожает школу!

— Да, это я знаю, — говорю я. И начинаю наворачивать ей все, что полагается: — Он очень легко уживается. Я хочу сказать, что он умеет ладить с людьми.

— Правда? Вы так считаете? — спросила она. Видно, ей было очень интересно.

— Эрнест? Ну конечно! — сказал я. А сам смотрю, как она снимает перчатки. Ну и колец у нее!

— Только что сломала ноготь в такси, — говорит она. Посмотрела на меня и улыбнулась. У нее была удивительно милая улыбка. Очень милая. Люди ведь вообще не улыбаются или улыбаются как-то противно. — Мы с отцом Эрнеста часто тревожимся за него, — говорит она. — Иногда мне кажется, что он не очень сходится с людьми.

— В каком смысле?

— Видите ли, он очень чуткий мальчик. Он никогда не дружил по-настоящему с другими мальчиками. Может быть, он ко всему относится серьезнее, чем следовало бы в его возрасте.

«Чуткий»! Вот умора! В крышке от унитаза и то больше чуткости, чем в этом самом Эрнесте.

Я посмотрел на нее. С виду она была вовсе не так глупа. С виду можно подумать, что она отлично понимает, какой гад ее сынок. Но тут дело темное — я про матерей вообще. Все матери немножко помешанные. И все-таки мать этого подлого Морроу мне понравилась. Очень славная.

— Не хотите ли сигарету? — спрашиваю.

Она оглядела весь вагон.

— По-моему, это вагон для некурящих, Рудольф! — говорит она. «Рудольф»! Подохнуть можно, честное слово!

— Ничего! Можно покурить, пока на нас не заорут, — говорю.

Она взяла сигаретку, и я ей дал закурить.

Курила она очень мило. Затягивалась, конечно, но как-то не жадно, не то что другие дамы в ее возрасте. Очень она была обаятельная. И как женщина тоже, если говорить правду.

Вдруг она посмотрела на меня очень пристально.

— Кажется, у вас кровь идет носом, дружочек, — говорит она вдруг.

Я кивнул головой, вытащил носовой платок.

— В меня попали снежком, — говорю, — знаете, с ледышкой.

Я бы, наверно, рассказал ей всю правду, только долго было рассказывать. Но она мне очень понрави-

лась. Я даже пожалел, зачем я сказал, что меня зовут Рудольф Шмит.

— Да, ваш Эрни, — говорю, — он у нас в Пэнси общий любимец. Вы это знали?

— Нет, не знала!

Я кивнул головой.

— Мы не сразу в нсм разобрались! Он занятный малый. Правда, со странностями — вы меня понимаете? Взять, например, как я с ним познакомился. Когда мы познакомились, мне показалось, что он немного задается. Я так думал сначала. Но он не такой. Просто он очень своеобразный человек, его не сразу узнаешь.

Бедная миссис Морроу ничего не говорила, но вы бы на нее посмотрели! Она так и застыла на месте. С матсрями всегда так — им только рассказывай, какие у них великолепные сыновья.

И тут я разошелся вовсю.

— Он вам говорил про выборы? — спрашиваю. — Про выборы в нашем классе?

Она покачала головой. Ей-богу, я ее просто загипнотизировал!

— Понимаетс, многис хотели выбрать вашего Эрни старостой класса. Да, все единогласно называли его кандидатуру. Понимаете, никто лучше его нс справился бы, — говорю. Ох, и наворачивал же я! — Но выбрали другого — знаете, Гарри Фенсера. И выбрали его только потому, что Эрни не позволил нам выдвинуть его кандидатуру. И все оттого, что он такой скромный, застенчивый, оттого и отказался... Вот до чего он скромный. Вы бы его отучили, честное слово! — Я посмотрел на нее. — Разве он вам не рассказывал?

— Нет, не рассказывал.

Я кивнул.

— Это на него похоже. Да, главный его недостаток, что он слишком скромный, слишком застенчивый. Честное слово, вы бы ему сказали, чтоб он не так стеснялся.

В эту минуту вошел кондуктор проверять билет у миссис Морроу, и мне можно было замолчать. А я рад, что я ей все это навертел. Вообще, конечно, такие типы, как этот Морроу, которые бьют людей мокрым полотенцем, да еще норовят ударить побольнее, такие не только в детстве сволочи, они всю жизнь сволочи. Но я головой ручаюсь, что после моей брехни бедная миссис Морроу будет всегда представлять себе своего сына этаким скромным, застенчивым малым, который даже не позволил нам выдвинуть его кандидатуру. Это вполне возможно. Кто их знает. Матери в таких делах не очень-то разбираются.

— Не угодно ли вам выпить коктейль? — спрашиваю. Мне самому захотелось выпить. — Можно пойти в вагон-ресторан. Пойдемте?

— Но, милый мой, разве вам разрешено заказывать коктейли? — спрашивает она. И ничуть не свысока. Слишком она была славная, чтоб разговаривать свысока.

— Вообще-то не разрешается, но мне подают, потому что я такой высокий, — говорю. — А потом у меня седые волосы. — Я повернул голову и показал, где у меня седые волосы. Она прямо обалдела. — Правда, почему бы вам не выпить со мной? — спрашиваю. Мне очень захотелось с ней выпить.

— Нет, пожалуй, не стоит. Спасибо, дружочек, но лучше не надо, — говорит. — Да и ресторан, пожалуй, уже закрыт. Ведь сейчас очень поздно, вы это знаете?

Она была права. Я совсем забыл, который час.

Тут она посмотрела на меня и спросила о том, чего я боялся:

— Эрнест мне писал, что он вернется домой в среду, что рождественские каникулы начнутся только в среду. Но ведь вас не вызвали домой срочно, надеюсь, у вас никто не болен?

Видно было, что она действитсльно за меня волнуется, не просто любопытничает, а всерьсз беспокоится.

— Нет, дома у нас все здоровы, — говорю. — Дело во мне самом. Мне надо делать операцию.

— Ах, как жалко! — Я видел, что ей в самом деле мсня жалко. А я и сам пожалел, что сморозил такое, но было уже поздно.

— Да ничего серьезного. Просто у меня крохотная опухоль на мозгу.

— Не может быть! — Она от ужаса закрыла рот руками.

— Это ерунда! Опухоль совсем поверхностная. И совсем малюсенькая. Ее за две минуты убсрут.

И тут я вытащил из кармана расписанис и стал его читать, чтобы прекратить это вранье. Я как начну врать, так часами не могу остановиться. Буквально часами.

Больше мы уже почти не разговаривали. Она читала «Вог», а я смотрел в окошко. Вышла она в Ньюарке. На прощание пожелала мне, чтоб операция сошла благополучно, и все такое. И называла меня Рудольфом. А под конец пригласила приехать лстом к Эрни в Глостер, в Массачусетсе. Говорит, что их дом прямо на берегу и там есть теннисный корт, но я ее поблагодарил и сказал, что уезжаю с бабушкой в

Южную Америку. Это я здорово наврал, потому что наша бабушка даже из дому не выходит, разве что иногда на какой-нибудь утренник. Но я бы все равно не поехал к этому гаду Эрнесту ни за какие деньги, даже если б деваться было некуда.

## 9

На Пенсильванском вокзалс я первым делом пошсл в телефонную будку. Хотелось кому-нибудь звякнуть по телефону. Чемоданы я поставил у будки, чтобы их было видно, но, когда я снял трубку, я подумал, что звонить мне некому. Мой брат, Д. Б., был в Голливуде, Фиби, моя сестренка, ложилась спать часов в девять — ей нельзя было звонить. Она бы нс рассердилась, если б я ее разбудил, но вся штука в том, что к телефону подошла бы не она. К телефону подошел бы кто-нибудь из родителей. Значит, нельзя. Я хотел позвонить матери Джейн Галлахер, узнать, когда у Джейн начинаются каникулы, но потом мне расхотелось. И вообщс было поздно туда звонить. Потом я хотел позвонить этой дсвочке, с которой я довольно часто встречался, — Салли Хейс, я знал, что у нее уже каникулы, она мне написала это самое письмо, сплошная липа, ужасно длинное, приглашала прийти к нсй в сочельник помочь убрать елку. Но я боялся, что к телефону подойдет ее мамаша. Она была знакома с моей матерью, и я представил ссбе, как она сломя голову хватает трубку и звонит моей матери, что я в Нью-Йорке. Да кромс того, неохота было разговаривать со старухой Хейс по телефону. Она как-то сказала Салли, что я необузданный. Во-первых, не-

обузданный, а во-вторых, что у меня нет цели в жизни. Потом я хотел звякнуть одному типу, с которым мы учились в Хуттонской школе, Карлу Льюсу, но я его недолюбливал. Кончилось тем, что я никому звонить не стал. Минут через двадцать я вышел из автомата, взял чемоданы и пошел через тоннель к стоянке такси.

Я до того рассеянный, что по привычке дал водителю свой домашний адрес. Совсем вылетело из головы, что я решил переждать в гостинице дня два и не появляться дома до начала каникул. Вспомнил я об этом, когда мы уже проехали почти весь парк. Я ему говорю:

— Пожалуйста, поверните обратно, если можно, я вам дал не тот адрес. Мне надо назад, в центр.

Но водитель попался хитрый.

— Не могу, Мак, тут движение одностороннее. Теперь надо ехать до самой Девяностой улицы.

Мне не хотелось спорить.

— Ладно, — говорю. И вдруг вспомнил: — Скажите, вы видали тех уток на озере у Южного выхода в Центральном парке? На маленьком таком прудике? Может, вы, случайно, знаете, куда они деваются, эти утки, когда пруд замерзает? Может, вы, случайно, знаете?

Я, конечно, понимал, что это действительно была бы чистая случайность.

Он обернулся и посмотрел на меня, как будто я ненормальный.

— Ты что, братец, — говорит, — смеешься надо мной, что ли?

— Нет, — говорю, — просто мне интересно узнать.

Он больше ничего не сказал, и я тоже. Когда мы выехали из парка у Девяностой улицы, он обернулся:

— Ну, братец, а теперь куда?

— Понимаете, не хочется заезжать в гостиницу на Ист-Сайд, где могут оказаться знакомые. Я путешествую инкогнито, — сказал я. Ненавижу избитые фразы вроде «путешествую инкогнито». Но с дураками иначе разговаривать не приходится. — Не знаете ли вы, случайно, какой оркестр играет у Тафта или в «Нью-Йоркере»?

— Понятия не имею, Мак.

— Ладно, везите меня в «Эдмонт», — говорю. — Может быть, вы не откажетесь по дороге выпить со мной коктейль? Я угощаю. У меня денег куча.

— Нельзя, Мак. Извините.

Да, веселый спутник, нечего сказать. Выдающаяся личность.

Мы приехали в «Эдмонт», и я взял номер. В такси я надел свою красную охотничью шапку просто ради шутки, но в вестибюле я ее снял, чтобы не приняли за психа. Смешно подумать: я тогда не знал, что в этом подлом отеле полным-полно всяких психов. Форменный сумасшедший дом.

Мне дали ужасно унылый номер, он тоску нагонял. Из окна ничего не было видно, кроме заднего фасада гостиницы. Но мне было все равно. Когда настроение скверное, не все ли равно, что там за окошком. Меня провел в номер коридорный — старый-престарый, лет под семьдесят. Он на меня нагонял тоску еще больше, чем этот номер. Бывают такие лысые, которые зачесывают волосы сбоку, чтобы прикрыть лысину. А я бы лучше ходил лысый, чем так причесываться. Вообще, что за работа для такого ста-

рика — носить чужие чемоданы и ждать чаевых? Наверно, он ни на что больше не годился, но все-таки это было ужасно.

Когда он ушел, я стал смотреть в окошко, не снимая пальто. Все равно делать было нечего. Вы даже не представляете, что творилось в корпусе напротив. Там даже не потрудились опустить занавески. Я видел, как один тип, седой, приличный господин, в одних трусах вытворял такое, что вы не поверите, если я вам расскажу. Сначала он поставил чемодан на кровать. А потом вынул оттуда женскую одежду и надел на себя. Настоящую женскую одежду — шелковые чулки, туфли на каблуках, бюстгальтер и такой пояс, на котором болтаются резинки. Потом надел узкое черное платье, вечернее платье, клянусь богом! А потом стал ходить по комнате маленькими шажками, как женщины ходят, и курить сигарету и смотреться в зеркало. Он был совсем один. Если только никого не было в ванной — этого я не видел. А в окошке, прямо над ним, я видел, как мужчина и женщина брызгали друг друга водой изо рта. Может, и не водой, а коктейлем, я не видел, что у них в стаканах. Сначала он наберет полный рот и как фыркнет прямо на нее! А потом она на него, по очереди, черт их дери! Вы бы на них посмотрели! Хохочут до истерики, как будто ничего смешнее не видали. Я не шучу, в гостинице было полно психов. Я, наверно, был единственным нормальным среди них, а это не так уж много. Чуть не послал телеграмму Стрэдлейтеру, чтоб он первым же поездом выезжал в Нью-Йорк. Он бы тут был королем, в этом отеле.

Плохо то, что на такую пошлятину смотришь не отрываясь, даже когда не хочешь. А эта девица, кото-

рой брызгали водой в физиономию, она даже была хорошенькая. Вот в чем мое несчастье. В душе я, наверно, страшный распутник. Иногда я представляю себе ужасные гадости, и я мог бы даже сам их делать, если б представился случай. Мне даже иногда кажется, что, может быть, это даже приятно, хоть и гадко. Например, я даже понимаю, что, может быть, занятно, если вы оба пьяны, взять девчонку и с ней плевать друг дружке в физиономию водой или там коктейлем. Но, по правде говоря, мне это ничуть не нравится. Если разобраться, так это просто пошлятина. По-моему, если тебе нравится девушка, так нечего с ней валять дурака, а если она тебе нравится, так нравится и ее лицо, а тогда не станешь безобразничать и плевать в нее чем попало. Плохо то, что иногда всякие глупости доставляют удовольствие. А сами девчонки тоже хороши — только мешают, когда стараешься не позволять себе никаких глупостей, чтобы не испортить что-то по-настоящему хорошее. Была у меня одна знакомая девчонка года два назад, она была еще хуже меня. Ох, и дрянь же! И все-таки нам иногда бывало занятно, хоть и гадко. Вообще я в этих сексуальных делах плохо разбираюсь. Никогда не знаешь, что к чему. Я сам себе придумываю правила поведения и тут же их нарушаю. В прошлом году я поставил себе правило, что не буду возиться с девчонками, от которых меня мутит. И сам же нарушил это правило — в ту же неделю, даже в тот же вечер, по правде говоря. Целый вечер целовался с ужасной кривлякой — звали ее Анна Луиза Шерман. Нет, не понимаю я толком про всякий секс. Честное слово, не понимаю.

Я стоял у окна и придумывал, как бы позвонить Джейн. Звякнуть ей по междугородному прямо в кол-

ледж, где она училась, вместо того чтобы звонить ее матери и спрашивать, когда она приедет? Конечно, не разрешается звонить студенткам поздно ночью, но я уже все придумал. Если подойдут к телефону, я скажу, что я ее дядя. Я скажу, что ее тетя только что разбилась насмерть в машине и я немедленно должен переговорить с Джейн. Наверно, ее позвали бы. Не позвонил я только потому, что настроения не было. А когда настроения нет, все равно ничего не выйдет.

Потом я сел в кресло и выкурил две сигареты. Чувствовал я себя препаршиво, сознаюсь. И вдруг я придумал. Я стал рыться в бумажнике — искать адрес, который мне дал один малый, он учился в Принстоне, я с ним познакомился летом на вечеринке. Наконец я нашел записку. Она порядком измялась в моем бумажнике, но разобрать было можно. Это был адрес одной особы, не то чтобы настоящей шлюхи, но, как говорил этот малый из Принстона, она иногда и не отказывала. Однажды он привел ее на танцы в Принстон, и его чуть за это не вытурили. Она танцевала в кабаре с раздеванием или что-то в этом роде. Словом, я взял трубку и позвонил ей. Звали ее Фей Кэвендиш, и жила она в отеле «Стэнфорд», на углу Шестьдесят шестой и Бродвея. Наверно, какая-нибудь трущоба.

Сначала я решил, что ее нет дома. Никто не отвечал. Потом взяли трубку.

— Алло! — сказал я. Я говорил басом, чтобы она не заподозрила, сколько мне лет. Но вообще голос у меня довольно низкий.

— Алло! — сказал женский голос не очень-то приветливо.

— Это мисс Фей Кэвендиш?

— Да, кто это? — спросила она. — Кто это звонит мне среди ночи, черт возьми!

Я немножко испугался.

— Да, я понимаю, что сейчас поздно, — сказал я взрослым голосом. — Надеюсь, вы меня простите, но мне просто необходимо было поговорить с вами! — И все это таким светским тоном, честное слово!

— Да кто же это? — спрашивает она.

— Вы меня не знаете, но я друг Эдди Бердселла. Он сказал, что, если окажусь в городе, мы с вами непременно должны встретиться и выпить коктейль вдвоем.

— Кто сказал? Чей вы друг? — Ну и тигрица, ей-богу! Она просто орала на меня по телефону.

— Эдмунда Бердселла, Эдди Бердселла, — повторил я. Я не помню, как его звали — Эдмунд или Эдвард. Я его только раз видел на какой-то идиотской вечеринке.

— Не знаю я такого, Джек! И если, по-вашему, мне приятно вскакивать ночью...

— Эдди Бердселл, из Принстона... Помните? — говорил я.

Слышно было, как она повторяет фамилию.

— Бердселл... Бердселл... Из Принстонского колледжа?

— Да-да! — сказал я.

— А вы тоже оттуда?

— Примерно.

— Ага... А как Эдди? — сказала она. — Все-таки безобразие звонить в такое время!

— Он ничего. Просил передать вам привет.

— Ну спасибо, передайте и ему привет, — сказала она. — Он чудный мальчик. Что он сейчас делает? —

Она уже становилась все любезнее и любезнее, черт ее дери.

— Ну, все то же, сами понимаете, — сказал я. Каким чертом я мог знать, что он там делает? Я почти не был с ним знаком. Я даже не знал, учится ли он ещс в Принстоне или нет. — Слушайте, — говорю я. — Может быть, мы с вами встрстимся ссйчас, выпьем коктейль?

— Да вы прсдставляете ссбс, который час? — сказала она. — И разрешитс спросить, как ваше имя? — Она вдруг заговорила с английским акцентом. — Голос у вас что-то очень молодой.

— Благодарю вас за комплимент! — говорю я самым светским тоном. — Меня зовут Холдсн Колфилд. — Надо было выдумать другую фамилию, но я сразу не сообразил.

— Видите ли, мистср Коффл, я не привыкла назначать свидания по ночам. Я ведь работаю.

— Завтра воскресенье, — говорю.

— Всс равно мне надо хорошенько выспаться. Сами понимаете.

— А я думал, мы с вами выпьем хоть один коктейль! И сейчас совсем не так поздно.

— Вы очень милы, право, — говорит она. — Откуда вы говорите? Где вы сейчас?

— Я? Я из автомата.

— Ах так, — сказала она. Потом долго молчала. — Знаете, я очень рада буду с вами встретиться, мистер Коффл. По голосу вы очень милый человек. У вас удивительно симпатичный голос. Но сейчас все-таки слишком поздно.

— Я могу приехать к вам.

— Что ж, в другое время я сказала бы — чудно! Но моя соседка заболела. Она весь вечер лежала, не могла заснуть. Она только что закрыла глаза, спит. Вы понимаете?

— Да, это плохо.

— Где вы остановились? Может быть, мы завтра встретимся?

— Нет, завтра я не могу. Я только сегодня свободен.

Ну и дурак! Не надо было так говорить.

— Что ж, очень жаль!

— Передам от вас привет Эдди.

— Правда, передадите? Надеюсь, вам будет весело в Нью-Йорке. Чудный город.

— Это я знаю. Спасибо. Спокойной ночи, — сказал я и повесил трубку.

Дурак, сам все испортил. Надо было хоть условиться на завтра, угостить ее коктейлем, что ли.

## 10

Было еще довольно рано. Не знаю точно, который час, но, в общем, не так уж поздно. Больше всего я ненавижу ложиться спать, когда ничуть не устал. Я открыл чемодан, вынул чистую рубашку, пошел в ванную, вымылся и переоделся. Пойду, думаю, посмотрю, что у них там творится в «Сиреневом зале». При гостинице был ночной клуб, назывался «Сиреневый зал».

Пока я переодевался, я подумал, не позвонить ли все-таки моей сестренке Фиби. Ужасно хотелось с ней поговорить. Она-то все понимала. Но нельзя было рисковать звонить домой, все-таки она еще маленькая, и, наверно, уже спала, и не подошла бы к телефону.

Конечно, можно было бы повесить трубку, если б подошли родители, но все равно ничего бы не вышло. Они узнали бы меня. Мама всегда догадывается. У нее интуиция. Но мне ужасно хотелось поболтать с нашей Фиби.

Вы бы на нее посмотрели. Такой хорошенькой, умной девчонки вы, наверно, никогда не видели. Умница, честное слово. Понимаете, с тех пор как она поступила в школу, у нее одни отличные отметки — никогда плохих не бывало. По правде говоря, я один в семье такой тупица. Старший мой брат, Д. Б., писатель, а мой братишка Алли, который умер, тот прямо был колдун. Я один такой тупой. А посмотрели бы вы на Фиби. У нее волосы почти такие же рыжие, как у Алли, летом они совсем коротенькие. Летом она их закладывает за уши. Ушки у нее маленькие, красивые. А зимой ей отпускают волосы. Иногда мама их заплетает, иногда нет, и все равно красиво. Ей всего десять лет. Она худая вроде меня, но очень складная. Худенькая, как раз для коньков. Один раз я смотрел в окно, как она переходила через улицу в парк, и подумал — как раз для коньков, тоненькая, легкая. Вам бы она понравилась. Понимаете, ей что-нибудь скажешь, и она сразу соображает, про что ты говоришь. Ее даже можно брать с собой куда угодно. Например, поведешь ее на плохую картину — она сразу понимает, что картина плохая. А поведешь на хорошую — она сразу понимает, что картина хорошая. Мы с Д. Б. один раз повели ее на эту французскую картину — «Жена пекаря», — там играет Раймю. Она просто обалдела. Но любимый ее фильм — «Тридцать девять ступеней», с Робертом Донатом. Она всю эту картину знает чуть не наизусть, мы вместе смотрели ее раз

дсcять. Например, когда этот самый Донат прячется на шотландской ферме от полисменов, Фиби громко говорит в один голос с этим шотландцем: «Вы едите селедку?» Весь диалог знает наизусть. А когда этот профессор, который на самом деле немецкий шпион, подымает мизинец, на котором не хватает сустава, и показывает Робсрту Донату, наша Фиби еще раньшс, чем он, в темноте подымает свой мизинец и тычет прямо мне в лицо. Она ничего. Вам бы она понравилась. Правда, она немножко слишком привязчива. Чрсcчур все пeрсживает, не по-детски. Это правда. А потом она все время пишет книжки. Только она их никогда не дописывает. Там все про девочку по имени Гизела Уэзерфилд, только наша Фиби пишст «Кисела». Эта самая Киссла Уэзерфилд — девушка-сыщик. Она как будто сирота, но откуда-то появляется ее отец. А отец у нее «высокий привлекательный джентльмен лет двадцати». Обалдеть можно! Да, наша Фиби. Честное слово, она бы вам понравилась. Она была еще совсем крошка, а уже умная. Когда она была совсем маленькая, мы с Алли водили ее в парк, особснно по воскрсcсньям. У Алли была парусная лодка, он любил ее пускать по воскрсcеньям, и мы всегда брали с собой нашу Фиби. А она наденет белые перчатки и идет между нами, как настоящая леди. Когда мы с Алли про что-нибудь говорили, она всегда слушала. Иногда мы про нее забудем, все-таки она была совсем маленькая, но она непрсменно о себе напомнит. Все время вмешивалась. Толкнет меня или Алли и спросит: «А кто? Кто сказал — Бобби или она?» И мы ей ответим, кто сказал, она скажст: «А-а-а!» — и опять слушает, как большая. Алли от нее тожс балдел. Я хочу сказать, он ее тоже любил. Теперь ей уже де-

сять, она не такая маленькая, но все равно от нее все балдеют — кто понимает, конечно.

Во всяком случае, мне очень хотелось поговорить с ней по телефону. Но я боялся, что подойдут родители и узнают, что я в Нью-Йорке и что меня вытурили из школы. Так что я только надел чистую рубашку, а когда переоделся, спустился в лифте в холл посмотреть, что там делается.

Но там почти никого не было, кроме каких-то сутенеристых типов и шлюховатых блондинок. Слышно было, как в «Сиреневом зале» играет оркестр, и я пошел туда. И хотя там было пусто, мне дали дрянной стол — где-то на задворках. Надо было сунуть официанту доллар. В Нью-Йорке за деньги все можно, это я знаю.

Оркестр был гнусный, Бадди Сингера. Ужасно громкий — но не по-хорошему громкий, а безобразно громкий. И в зале было совсем мало моих сверстников. По правде говоря, там их вовсе не было — все больше какие-то расфуфыренные старикашки со своими дамами. И только за соседним столиком посетители были совсем другие. За соседним столиком сидели три девицы лет под тридцать. Все три были довольно уродливые, и по их шляпкам сразу было видно, что они приезжие. Но одна, блондинка, была не так уж плоха. Что-то в ней было забавное, но, только я стал на нее поглядывать, подошел официант. Я заказал виски с содовой, но велел не разбавлять — говорил я нарочно быстро, а то, когда мнешься и мямлишь, можно подумать, что ты несовершеннолетний, и тогда тебе спиртного не дадут. И все равно он стал придираться.

— Простите, сэр, — говорит, — но нет ли у вас какого-нибудь удостоверения, что вы совершеннолетний? Может быть, у вас при себе шоферские права?

Я посмотрсл на него ледяным взглядом, как будто он меня смертельно оскорбил, и говорю:

— Разве я похож на несовершеннолетнего?

— Простите, сэр, но у нас есть распоряжение...

— Ладно, ладно, — говорю, а сам думаю: «Ну его к черту!» — Дайте мне кока-колы.

Он стал уходить, но я его позвал:

— Вы не можете подбавить капельку рома? — Я его попросил очень вежливо, ласково. — Как я могу сидеть в таком месте трезвый? Вы не можете подбавить хоть капельку рома?

— Простите, сэр, никак нельзя! — И ушел. Но он не виноват. Он может потерять работу, если подаст спиртное несовершеннолетнему. А я, к несчастью, несовершеннолетний.

Опять я стал посматривать на этих ведьм за соседним столиком. Вернее, на блондинку. Те две были страшные, как смертный грех. Но я не глазел как дурак. Наоборот, я их окинул равнодушным взором. И что же, по-вашему, они сделали? Стали хихикать, как идиотки! Наверно, решили, что я слишком молод, чтобы строить глазки. Мне стало ужасно досадно — жениться я хочу на них, что ли? Надо было бы обдать их презрением, но мне страшно хотелось танцевать. Иногда мне ужасно хочется потанцевать — и тут захотелось. Я наклонился к ним и говорю:

— Девушки, не хотите ли потанцевать? — Вежливо спросил, очень светским тоном. А они, дуры, всполошились. И опять захихикали. Честнос слово, форменные идиотки. — Пойдемте потанцуем! — говорю. — Давайте по очереди. Ну как? Потанцуем? — Ужасно мне хотелось танцевать.

В конце концов блондинка встала, видно, поняла, что я обращаюсь главным образом к ней. Мы вы-

шли на площадку. А те две чучелы закатились как в истерике. С такими только с горя и свяжешься.

Но игра стоила свеч. Как эта блондинка танцевала! Лучшей танцорки я в жизни не встречал. Знаете, иногда она — дура, а танцует как бог. А бывает, что умная девчонка либо сама норовит тебя вести, либо так плохо танцует, что только и остается сидеть с ней за столиком и напиваться.

— Вы здорово танцуете! — говорю я блондинке. — Вам надо бы стать профессиональной танцоркой. Честное слово! Я как-то раз танцевал с профессионалкой, но вы во сто раз лучше. Слыхали про Марко и Миранду?

— Что? — Она даже не слушала меня. Все время озиралась.

— Я спросил, вы слыхали про Марко и Миранду?

— Не знаю. Нет. Не слыхала.

— Они танцоры. Она танцовщица. Не очень хорошая. То есть она делает что полагается, и все-таки это не очень здорово. Знаете, как почувствовать, что твоя дама здорово танцует?

— Чего это? — переспросила она. Она совершенно меня не слушала, внимания не обращала.

— Я говорю, знаете, как почувствовать, что дама здорово танцует?

— Ага...

— Видите, я держу руку у вас на спине. Так вот, если забываешь, что у тебя под рукой и где у твоей дамы ноги, руки и все вообще, значит, она здорово танцует!

Она и не слыхала, что я говорю. Я решил замолчать. Мы просто танцевали — и все. Ох, как эта дура танцевала! Бадди Сингер и его дрянной оркестр игра-

ли «Есть лишь одно на свете...» — и даже они не смогли испортить эту вещь. Чудесная песня. Танцевал я просто, без фокусов — ненавижу, когда вытворяют всякие фокусы во время танцев, — но я ее совсем закружил, и она слушалась отлично. Я-то по глупости думал, что ей тоже приятно танцевать, и вдруг она стала пороть какую-то чушь.

— Знаете, мы с подругами вчера вечером видели Питера Лорре, — говорит. — Киноактера. Живого! Он покупал газету. Такой хорошенький!

— Вам повезло, — говорю, — да, вам крупно повезло. Вы это понимаете? — Настоящая идиотка. Но как танцует! Я не удержался и поцеловал ее в макушку, эту дуру, прямо в пробор. А она обиделась!

— Это еще что такое?

— Ничего. Просто так. Вы здорово танцуете, — сказал я. — У меня есть сестренка, она, чертенок, только в четвертом классе. Вы не хуже ее танцуете, а уж она танцует — чертям тошно!

— Пожалуйста, не выражайтесь!

Тоже мне леди! Королева, черт побери!

— Откуда вы приехали? — спрашиваю. Не отвечает. Глазеет во все стороны — видно, ждет, что явится сам Питер Лорре.

— Откуда вы приехали? — повторяю.

— Чего?

— Откуда вы все приехали? Вы не отвечайте, если вам не хочется. Не утруждайтесь, прошу вас!

— Из Сиэттла, штат Вашингтон, — говорит. Снизошла, сделала мне одолжение!

— Вы отличная собеседница, — говорю. — Вам это известно?

— Чего это?

Я не стал повторять. Все равно до нее не доходит.

— Хотите станцевать джиттербаг, если будет быстрая музыка? Настоящий честный джиттербаг, без глупостей — не скакать, а просто потанцевать. Если сыграют быструю, все сядут, кроме старичков и толстячков, нам места хватит. Ладно?

— Да мне все одно, — говорит. — Слушьте, а сколько вам лет?

Мне вдруг стало досадно.

— О черт, зачем все портить? — говорю. — Мне уже двенадцать. Я только дьявольски большого роста.

— Слушьте, я вас просила не чертыхаться. Ежели будете чертыхаться, я могу уйти к своим подругам, поняли?

Я стал извиняться как сумасшедший, оттого что оркестр заиграл быстрый танец. Она пошла со мной танцевать джиттербаг — очень пристойно, легко. Здорово она танцевала, честное слово. Слушалась — чуть дотронешься. А когда она крутилась, у нее так мило вертелся задик, просто прелесть. Здорово, ей-богу. Я чуть в нее не влюбился, пока мы танцевали. Беда мне с этими девчонками. Иногда на нее и смотреть не хочется, видишь, что она дура дурой, но стоит ей сделать что-нибудь мило, я уже влюбляюсь. Ох эти девчонки, черт бы их подрал. С ума могут свести.

Меня не пригласили сесть к их столику — от невоспитанности, конечно, а я все-таки сел. Блондинку, с которой я танцевал, звали Бернис Крабс или Кребс. А тех, некрасивых, звали Марти и Лаверн. Я сказал, что меня зовут Джим Стил, нарочно сказал. Пробовал я завести с ними умный разговор, но это оказалось невозможным. Их и силком нельзя было бы заставить говорить. Одна глупее другой. И все время

озираются, как будто ждут, что сейчас в зал ввалится толпа кинозвезд. Они, наверно, подумали, что кинозвезды, когда приезжают в Нью-Йорк, все вечера торчат в «Сиреневом зале», а не в «Эль-Марокко» или в «Сторк-клубе». Еле-еле добился, где они работают в своем Сиэттле. Оказывается, все три работали в одном страховом обществе. Я спросил, нравится ли им их работа, но разве от этих дур можно было чего-нибудь добиться? Я думал, что эти две уродины, Марти и Лаверн, — сестры, но они ужасно обиделись, когда я спросил. Понятно, что каждая не хотела быть похожей на другую, это законно, но все-таки меня смех разбирал.

Я со всеми тремя перетанцевал по очереди. Одна уродина, Лаверн, не так уж плохо танцевала, но вторая, Марти, — убийственно. С ней танцевать — все равно что таскать по залу статую Свободы. Надо было что-то придумать, чтоб не так скучно было таскать ее. И я ей сказал, что Гарри Купер, киноартист, идет вон там по залу.

— Где, где? — Она страшно заволновалась. — Где он?

— Эх, прозевали! Он только что вышел. Почему вы сразу не посмотрели, когда я сказал?

Она даже остановилась и стала смотреть через головы, не видно ли его.

— Да где же он? — говорит. Она чуть не плакала, вот что я наделал. Мне ужасно стало ее жалко — зачем я ее надул. Есть люди, которых нельзя обманывать, хоть они того и стоят.

А смешнее всего было, когда мы вернулись к столику. Марти сказала, что Гарри Купер был здесь. Те две — Лаверн и Бернис — чуть не покончили с собой,

когда услыхали. Расстроились, спрашивают Марти, видела ли она его. А Марти говорит — да, только мельком. Вот дурища!

Бар закрывался, и я им заказал по две порции спиртного на брата, а себе две кока-колы. Весь их стол был заставлен стаканами. Одна уродина, Лаверн, все дразнила меня, что я пью только кока-колу. Блестящий юмор. Она и Марти пили прохладительное — в декабре, черт меня возьми! Ничего они не понимали. А блондинка Бернис дула виски с содовой. Пила как лошадь. И все три то и дело озирались — искали киноартистов. Они даже друг с другом не разговаривали. Эта Марти еще говорила больше других. И все время несла какую-то унылую пошлятину, например, уборную называла «одно местечко», а старого облезлого кларнетиста из оркестра называла «душкой», особенно когда он встал и пропищал что-то невнятное. А кларнет назвала «дудочкой». Ужасная пошлячка. А вторая уродина, Лаверн, воображала, что она страшно остроумная. Все просила меня позвонить моему папе и спросить, свободен ли он сегодня вечером. Все спрашивала — не ушел ли мой папа на свидание. Четыре раза спросила — удивительно остроумно. А Бернис, блондинка, все молчала. Спросишь ее о чем-нибудь, она только переспрашивает: «Чего это?» Просто на нервы действует.

И вдруг они все три допили и встали, говорят — пора спать. Говорят, им завтра рано вставать, они идут на первый сеанс в Радио-сити, в мюзик-холл. Я просил их посидеть немножко, но они не захотели. Пришлось попрощаться. Я им сказал, что отыщу их в Сиэттле, если туда попаду. Но вряд ли! То есть вряд ли я их стану искать.

За все вместе с сигаретами подали счет почти на тринадцать долларов. По-моему, они могли хотя бы сказать, что сами заплатят за все, что они выпили до того, как я к ним подсел. Я бы, разумеется, не разрешил им платить, но предложить они могли бы. Впрочем, это ерунда. Уж очень они были глупы, да еще эти жалкие накрученные шляпки. У меня настроение испортилось, когда я подумал, что они хотят рано вставать, чтобы попасть на первый сеанс в Радио-сити. Только представить себе, что такая вот особа в ужасающей шляпке приехала в Нью-Йорк бог знает откуда — из какого-нибудь Сиэттла — только для того, чтобы встать чуть свет и пойти смотреть дурацкую программу в Радио-сити, и от этого так скверно становится на душе, просто вынести невозможно. Я бы им всем троим заказал по сто рюмок, только бы они мне этого не говорили.

После них я сразу ушел из «Сиреневого зала». Все равно он закрывался и оркестр давно перестал играть. Во-первых, в таких местах скучно сидеть, если не с кем танцевать, а во-вторых, официант не подает ничего, кроме кока-колы. Нет такого кабака на свете, где можно долго высидеть, если нельзя заказать спиртного и напиться. Или если с тобой нет девчонки, от которой ты по-настоящему балдеешь.

## 11

Вдруг я опять вспомнил про Джейн Галлахер. Вспомнил — и уже не мог выкинуть ее из головы. Я уселся в какое-то поганое кресло в холле и стал думать, как она сидела со Стрэдлейтером в машине этого подлого Эда Бэнки, и, хотя я был совершенно уве-

рен, что между ними ничего не было — я-то знаю Джейн насквозь, — все-таки я никак не мог выбросить ее из головы. А я знал ее насквозь, честное слово! Понимаете, она не только умела играть в шашки, она любила всякий спорт, и, когда мы с ней познакомились, мы все лето каждое утро играли в теннис, а после обеда — в гольф. Я с ней очень близко сошелся. Не в физическом смысле, конечно, — ничего подобного, а просто мы все время были вместе. И вовсе не надо ухаживать за девчонкой, для того чтобы с ней подружиться.

А познакомился я с ней, потому что их доберман-пинчер всегда бегал в наш палисадник и там гадил, а мою мать это страшно раздражало. Она позвонила матери Джейн и подняла страшный хай. Моя мама умеет подымать хай из-за таких вещей. А потом случилось так, что через несколько дней я увидел Джейн около бассейна нашего клуба, она лежала на животе, и я с ней поздоровался. Я знал, что она живет рядом с нами, но я никогда с ней не разговаривал. Но сначала, когда я с ней поздоровался, она меня просто обдала холодом. Я из кожи лез, доказывал ей, что мне-то в высшей степени наплевать, где ее собака гадит. Пусть хоть в гостиную бегает, мне все равно. В общем, после этого мы с Джейн очень подружились. Я в тот же день играл с ней в гольф. Как сейчас помню, она потеряла восемь мячей. Да, восемь! Я просто с ней замучился, пока научил ее хотя бы открывать глаза, когда бьешь по мячу. Но я ее здорово натренировал. Я очень хорошо играю в гольф. Если бы я сказал вам, во сколько кругов я кончаю игру, вы бы не поверили. Меня раз чуть не сняли для короткометражки, только я в последнюю минуту передумал. Я подумал, что если

так ненавидеть кино, как я его ненавижу, так нечего выставляться напоказ и давать себя снимать для короткометражки.

Смешная она была девчонка, эта Джейн. Я бы не сказал, что она была красавица. А мне она нравилась. Такая большеротая. Особенно когда она из-за чего-нибудь волновалась и начинала говорить, у нее рот так и ходил ходуном. Я просто балдел. И она никогда его не закрывала как следует, всегда он был у нее приоткрыт, особенно когда она играла в гольф или читала книжки. Вечно она читала, и все хорошие книжки. Особенно стихи. Кроме моих родных, я ей одной показывал рукавицу Алли, всю исписанную стихами. Она не знала Алли, потому что только первое лето проводила в Мейне — до этого она ездила на Кейп-Код, но я ей много чего рассказывал про него. Ей было интересно, она любила про него слушать.

Моей маме она не очень нравилась. Дело в том, что маме казалось, будто Джейн и ее мать относятся к ней свысока, оттого что они не всегда с ней здоровались. Мама их часто встречала в поселке, потому что Джейн ездила со своей матерью на рынок в машине. Моей маме Джейн даже не казалась хорошенькой. А мне казалась. Мне нравилось, как она выглядит, и все.

Особенно я помню один день. Это был единственный раз, когда мы с Джейн поцеловались, да и то не по-настоящему. Была суббота, и дождь лил как из ведра, а я сидел у них на веранде — у них была огромная застекленная веранда. Мы играли в шашки. Иногда я ее поддразнивал за то, что она не выводила дамки из последнего ряда. Но я ее не очень дразнил. Ее как-то дразнить не хотелось. Я-то ужасно люблю дразнить

девчонок до слез, когда случай подвернется, но смешно вот что: когда мне девчонка всерьез нравится, совершенно не хочется ее дразнить. Иногда я думаю, что ей хочется, чтобы ее подразнили, я даже наверняка знаю, что хочется, но если ты с ней давно знаком и никогда ее не дразнил, то как-то трудно начать ее изводить. Так вот, я начал рассказывать про тот день, когда мы с Джейн поцеловались. Дождь лил как оголтелый, мы сидели у них на веранде, и вдруг этот пропойца, муж ее матери, вышел на веранду и спросил у Джейн, есть ли сигареты в доме. Я его мало знал, но он из тех, кто будет с тобой разговаривать, только если ему что-нибудь от тебя нужно. Отвратительный тип. А Джейн даже не ответила ему, когда он спросил, есть ли в доме сигареты. Он опять спросил, а она опять не ответила. Она даже глаз не подняла от доски. Потом он ушел в дом. А когда он ушел, я спросил Джейн, в чем дело. Она и мне не стала отвечать. Сделала вид, что обдумывает ход. И вдруг на доску капнула слеза. Прямо на красное поле, черт, я как сейчас вижу. А Джейн только размазала слезу пальцем по красному полю, и все. Не знаю почему, но я ужасно расстроился. Встал, подошел к ней и заставил ее потесниться, чтобы сесть с ней рядом, я чуть ли не на колени к ней уселся. И тут она расплакалась по-настоящему — и, прежде чем я мог сообразить, я уже целовал ее куда попало: в глаза, лоб, в нос, в брови, даже в уши. Только в губы не поцеловал, она как-то все время отводила губы. Во всяком случае, больше, чем в тот раз, мы никогда не целовались. Потом она встала, пошла в комнату и надела свой свитер, красный с белым, от которого я просто обалдел, и мы пошли в какое-то дрянное кино.

По дороге я ее спросил, не пристает ли к ней этот мистер Кюдехи — этот самый пьяница. Хотя она была еще маленькая, но фигура у нее была чудесная, и вообще я бы за эту сволочь, этого Кюдехи, не поручился. Она сказала — нет. Так я и не узнал, из-за чего она ревела.

Вы только не подумайте, что она была какая-нибудь ледышка, оттого что мы никогда не целовались и не обнимались. Вовсе нет. Например, мы с ней всегда держались за руки. Я понимаю, это не в счет, но с ней замечательно было держаться за руки. Когда с другими девчонками держишься за руки, у них рука как мертвая, или они все время вертят рукой, будто боятся, что иначе тебе надоест. А Джейн была совсем другая. Придем с ней в какое-нибудь кино и сразу возьмемся за руки и не разнимаем рук, пока картина не кончится. И даже не думаем ни о чем, не шелохнемся. С Джейн я никогда не беспокоился, потеет у меня ладонь или нет. Просто с ней было хорошо. Удивительно хорошо.

И еще я вспомнил одну штуку. Один раз в кино Джейн такое вычудила, что я просто обалдел. Шла кинохроника или еще что-то, и вдруг я почувствовал, что меня кто-то гладит по голове, оказалось — Джейн. Удивительно странно все-таки. Ведь она была еще маленькая, а обычно женщины гладят кого-нибудь по голове, когда им уже лет тридцать, и гладят они своего мужа или ребенка. Я иногда глажу свою сестренку по голове — редко, конечно. А тут она, сама еще маленькая, и вдруг гладит тебя по голове. И это у нее до того мило вышло, что я просто очумел.

Словом, про все про это я и думал — сидел в этом поганом кресле в холле и думал. Да, Джейн. Как вспомню, что она сидела с этим подлым Стрэдлейтером в

этой чертовой машине, так схожу с ума. Знаю, она ему ничего такого не позволила, но все равно я с ума сходил. По правде говоря, мне даже вспоминать об этом не хочется.

В холле уже почти никого не было. Даже все шлюховатые блондинки куда-то исчезли. Мне страшно хотелось убраться отсюда к чертям. Тоска ужасная. И я совсем не устал. Я пошел к себе в номер, надел пальто. Выглянул в окно посмотреть, что делают все эти психи, но света нигде не было. Я опять спустился в лифте, взял такси и велел везти себя к Эрни. Это такой ночной кабак в Гринвич-Виллидж. Мой брат, Д. Б., ходил туда очень часто, пока не запродался в Голливуд. Он и меня несколько раз брал с собой. Сам Эрни — громадный негр, играет на рояле. Он ужасный сноб и не станет с тобой разговаривать, если ты не знаменитость и не важная шишка, но играет он здорово. Он так здорово играет, что иногда даже противно. Я не умею как следует объяснить, но это так. Я очень люблю слушать, как он играет, но иногда мне хочется перевернуть его проклятый рояль вверх тормашками. Наверно, это оттого, что иногда по его игре слышно, что он задается и не станет с тобой разговаривать, если ты не какая-нибудь шишка.

## 12

Такси было старое и воняло так, будто кто-то стравил тут свой ужин. Вечно мне попадаются такие тошнотворные такси, когда я езжу ночью. А тут еще вокруг было так тихо, так пусто, что становилось еще тоскливее. На улице ни души, хоть была суббота. Иног-

да пройдет какая-нибудь пара, обнявшись, или хулиганистая компания с девицами, гогочут, как гиены, хоть, наверно, ничего смешного нет. Нью-Йорк вообще страшный, когда ночью пусто и кто-то гогочет. На сто миль слышно. И так становится тоскливо и одиноко. Ужасно хотелось вернуться домой, потрепаться с сестренкой. Но потом я разговорился с водителем. Звали его Горвиц. Он был гораздо лучше того первого шофера, с которым я ехал. Я и подумал, может быть, хоть он знает про уток.

— Слушайте, Горвиц, — говорю, — вы когда-нибудь проезжали мимо пруда в Центральном парке? Там, у Южного выхода?

— Что-что?

— Там пруд. Маленькое такое озерцо, где утки плавают. Да вы, наверно, знаете.

— Ну, знаю, и что?

— Видели, там утки плавают? Весной и летом. Вы, случайно, не знаете, куда они деваются зимой?

— Кто девается?

— Да утки! Может, вы, случайно, знаете? Может, кто-нибудь подъезжает на грузовике и увозит их или они сами улетают куда-нибудь на юг?

Тут Горвиц обернулся и посмотрел на меня. Он, как видно, был ужасно раздражительный, хотя, в общем, и ничего.

— Почем я знаю, черт возьми! — говорит. — За каким чертом мне знать всякие глупости?

— Да вы не обижайтесь, — говорю. Видно было, что он ужасно обиделся.

— А кто обижается? Никто не обижается.

Я решил с ним больше не заговаривать, раз его это так раздражает. Но он сам начал. Опять обернулся ко мне и говорит:

— Во всяком случае, рыбы никуда не деваются. Рыбы там и остаются. Сидят себе в пруду, и все.

— Так это большая разница, — говорю, — то рыбы, а я спрашиваю про уток.

— Где тут разница, где? Никакой разницы нет, — говорит Горвиц. И по голосу слышно, что он сердится. — Господи ты боже мой, да рыбам зимой еще хуже, чем уткам. Вы думайте головой, господи боже!

Я помолчал, помолчал, потом говорю:

— Ну ладно. А рыбы что делают, когда весь пруд промерзнет насквозь и по нему даже на коньках катаются?

Тут он как обернется да как заорет на меня:

— То есть как это — что рыбы делают? Сидят себе там, и все!

— Не могут же они не чувствовать, что кругом лед. Они же это чувствуют.

— А кто сказал, что не чувствуют? Никто не говорил, что они не чувствуют! — крикнул Горвиц. Он так нервничал, я даже боялся, как бы он не налетел на столб. — Да они живут в самом льду, понятно? Они от природы такие, черт возьми! Вмерзают в лед на всю зиму, понятно?

— Да? А что же они едят? Если они вмерзают, они же не могут плавать, искать себе еду!

— Да как же вы не понимаете, господи! Их организм сам питается, понятно? Там во льду водоросли, всякая дрянь. У них поры открыты, они через поры всасывают пищу. Их природа такая, господи боже мой! Вам понятно или нет?

— Угу. — Я с ним не стал спорить. Боялся, что он разобьет, к черту, машину. Раздражительный такой, с

ним и спорить неинтересно. — Может быть, заедем куда-нибудь, выпьем? — спрашиваю.

Но он даже не ответил. Наверно, думал про рыб. Я опять спросил, не выпить ли нам. В общем, он был ничего. Забавный такой старик.

— Некогда мне пить, братец мой! — говорит. — Кстати, сколько вам лет? Чего вы до сих пор спать не ложитесь?

— Не хочется.

Когда я вышел около «Эрни» и расплатился, старик Горвиц опять заговорил про рыб.

— Слушайте, — говорит, — если бы вы были рыбой, неужели мать-природа о вас не позаботилась бы? Что? Уж не воображаете ли вы, что все рыбы дохнут, когда начинается зима?

— Нет, не дохнут, но...

— Ага! Значит, не дохнут! — крикнул Горвиц и умчался как сумасшедший. В жизни не видел таких раздражительных типов. Что ему ни скажешь, на все обижается.

Даже в такой поздний час у Эрни было полным-полно. Больше всего пижонов из школ и колледжей. Все школы рано кончают перед Рождеством, только мне не везет. В гардеробной номерков не хватало, так было тесно. Но стояла тишина — сам Эрни играл на рояле. Как в церкви, ей-богу, стоило ему сесть за рояль — сплошное благоговение, все на него молятся. А по-моему, ни на кого молиться не стоит. Рядом со мной какие-то пары ждали столиков, и все толкались, становились на цыпочки, лишь бы взглянуть на этого Эрни. У него над роялем висело огромное зеркало, и сам он был освещен прожектором, чтоб все видели его лицо, когда он играл. Рук видно не было — толь-

ко его физиономия. Здорово заверчено. Не знаю, какую вещь он играл, когда я вошел, но он изгадил всю музыку. Пускал эти дурацкие показные трели на высоких нотах, вообще кривлялся так, что у меня живот заболел. Но вы бы слышали, что вытворяла толпа, когда он кончил. Вас бы, наверно, стошнило. С ума посходили. Совершенно как те идиоты в кино, которые гогочут, как гиены, в самых несмешных местах. Клянусь богом, если б я играл на рояле или на сцене и нравился этим болванам, я бы считал это личным оскорблением. На черта мне их аплодисменты? Они всегда не тому хлопают, чему надо. Если бы я был пианистом, я бы заперся в кладовке и там играл. А когда Эрни кончил и все стали хлопать как одержимые, он повернулся на табурете и поклонился этаким деланным, смиренным поклоном. Притворился, что он, мол, не только замечательный пианист, но еще и скромный до чертиков. Все это была сплошная липа — он такой сноб, каких свет не видал. Но мне все-таки было его немножко жаль. По-моему, он сам уже не разбирается, хорошо он играет или нет. Но он тут ни при чем. Виноваты эти болваны, которые ему хлопают, — они кого угодно испортят, им только дай волю. А у меня от всего этого опять настроение стало ужасное, такое гнусное, что я чуть не взял пальто и не вернулся к себе в гостиницу, но было слишком рано, и мне очень не хотелось оставаться одному.

Наконец мне дали этот паршивый стол, у самой стенки, за каким-то столбом — ничего оттуда видно не было. Столик был крохотный, угловой, за него можно было сесть, только если за соседним столом все встанут и пропустят тебя — да разве эти гады встанут? Я заказал виски с содовой, это мой любимый

напиток после дайкири со льдом. У Эрни всем подавали, хоть шестилетним, там было почти темно, а кроме того, никому дела не было, сколько тебе лет. Даже на каких-нибудь наркоманов и то внимания не обращали.

Вокруг были одни подонки. Честное слово, не вру. У другого маленького столика, слева, чуть ли не на мне сидел ужасно некрасивый тип с ужасно некрасивой девицей. Наверно, мои ровесники — может быть, чуть постарше. Смешно было на них смотреть. Они старались пить свою порцию как можно медленнее. Я слушал, о чем они говорят, — все равно делать было нечего. Он рассказывал ей о каком-то футбольном матче, который он видел в этот день. Подробно, каждую минуту игры, честное слово. Такого скучного разговора я никогда не слыхал. И видно было, что его девицу ничуть не интересовал этот матч, но она была ужасно некрасивая, даже хуже его, так что ей ничего не оставалось, как слушать. Некрасивым девушкам очень плохо приходится. Мне их иногда до того жалко, что я даже смотреть на них не могу, особенно когда они сидят с каким-нибудь шизиком, который рассказывает им про свой идиотский футбол. А справа от меня разговор был еще хуже. Справа сидел такой йельский франт в сером фланелевом костюме и в очень стильной жилетке. Все эти хлюпики из аристократических землячеств похожи друг на дружку. Отец хочет отдать меня в Йель или в Принстон, но, клянусь, меня в эти аристократические колледжи никакими силами не заманишь, лучше умереть, честное слово. Так вот, с этим аристократишкой была изумительно красивая девушка. Просто красавица. Но вы бы послушали, о чем они разговаривали. Во-первых, оба слегка подвыпили. Он ее тискал под сто-

лом, а сам в это время рассказывал про какого-то типа из их общежития, который съел целую склянку аспирина и чуть не покончил с собой. Девушка все время говорила: «Ах, какой ужас... Не надо, милый... Ну, прошу тебя... Только не здесь». Вы только представьте себе — тискать девушку и при этом рассказывать ей про какого-то типа, который собирался покончить с собой! Смех, да и только.

Я уже весь зад себе отсидел, скука была страшная. И делать нечего, только пить и курить. Правда, я велел официанту спросить самого Эрни, не выпьет ли он со мной. Я ему велел сказать, что я брат Д. Б. Но тот, по-моему, даже не передал ничего. Разве эти скоты когда-нибудь передадут?

И вдруг меня окликнула одна особа:

— Холден Колфилд! — Звали ее Лилиан Симмонс. Мой брат, Д. Б., за ней когда-то приударял. Грудь у нее была необъятная.

— Привет, — говорю. Я, конечно, пытался встать, но это было ужасно трудно в такой тесноте. С ней пришел морской офицер, он стоял, как будто ему в зад всадили кочергу.

— Как я рада тебя видеть! — говорит Лилиан Симмонс. Врет, конечно. — А как поживает твой старший брат? — Это-то ей и надо было знать.

— Хорошо. Он в Голливуде.

— В Голливуде! Какая прелесть! Что же он там делает?

— Не знаю. Пишет, — говорю. Мне не хотелось распространяться. Видно было, что она считает огромной удачей, что он в Голливуде. Все так считают, особенно те, кто никогда не читал его рассказов. А меня это бесит.

— Как увлекательно! — говорит Лилиан и знакомит меня со своим моряком. Звали его капитан Блоп или что-то в этом роде. Он из тех, кто думает, что его будут считать бабой, если он не сломает вам все сорок пальцев, когда жмет руку. Фу, до чего я это ненавижу! — Ты тут один, малыш? — спрашивает Лилиан. Она загораживала весь проход, и видно было, что ей нравится никого не пропускать. Официант стоял и ждал, когда же она отойдет, а она и не замечала его. Удивительно глупо. Сразу было видно, что официанту она ужасно не нравилась: наверно, и моряку она не нравилась, хоть он и привел ее сюда. И мне она не нравилась. Никому она не нравилась. Даже стало немножко жаль ее.

— Разве у тебя нет девушки, малыш? — спрашивает.

Я уже встал, а она даже не потрудилась сказать, чтоб я сел. Такие могут часами продержать тебя на ногах.

— Правда, он хорошенький? — спросила она моряка. — Холден, ты с каждым днем хорошеешь!

Тут моряк сказал ей, чтобы она проходила. Он сказал, что она загородила весь проход.

— Пойдем сядем с нами, Холден, — говорит она. — Возьми свой стакан.

— Да я уже собираюсь уходить, — говорю я. — У меня свидание.

Видно было, что она ко мне подлизывается, чтобы я потом рассказал про нее Д. Б.

— Ах ты, чертенок! Ну, молодец! Когда увидишь своего старшего брата, скажи, что я его ненавижу!

И она ушла. Мы с моряком сказали, что очень рады были познакомиться. Мне всегда смешно. Веч-

но я говорю «очень приятно с вами познакомиться», когда мне ничуть не приятно. Но если хочешь жить с людьми, приходится говорить всякое.

Мне ничего не оставалось делать, как только уйти — я ей сказал, что у меня свидание. Даже нельзя было остаться послушать, как Эрни играет что-то более или менее пристойное. Но не сидеть же мне с этой Лилиан Симмонс и с ес моряком — скука смертная! Я и ушел. Но я ужасно злился, когда брал пальто. Всчно люди тебе все портят.

## 13

Я пошел пешком до самого отеля. Сорок один квартал не шутка! И не потому я пошел пешком, что мне хотелось погулять, а просто потому, что ужасно не хотелось опять садиться в такси. Иногда надосдает ездить в такси, даже подыматься на лифте и то надоедает. Вдруг хочется идти пешком, хоть и далеко или высоко. Когда я был малснький, я часто подымался пешком до самой нашей квартиры. На двснадцатый этаж.

Непохоже было, что недавно шел снег. На тротуарах его совсем не было. Но холод стоял жуткий, и я вытащил свою охотничью шапку из кармана и надел ее — мне было безразлично, какой у меня вид. Я даже наушники опустил. Эх, знал бы я, кто стащил мои перчатки в Пэнси! У мсня здорово мерзли руки. Впрочем, даже если б я знал, я бы все равно ничего нс сделал. Я по природе трус. Стараюсь не показывать, но я трус. Например, если бы я узнал в Пэнси, кто украл мои перчатки, я бы, наверно, пошел к этому

жулику и сказал: «Ну-ка, отдай мои перчатки!» А жулик, который их стащил, наверно, сказал бы самым невинным голосом: «Какие перчатки?» Тогда я, наверно, открыл бы его шкаф и нашел там где-нибудь свои перчатки. Они, наверно, были бы спрятаны в его поганых галошах. Я бы их вынул и показал этому типу и сказал: «Может быть, это твои перчатки?» А этот жулик, наверно, притворился бы этаким невинным младенцем и сказал: «В жизни не видел этих перчаток. Если они твои, бери их, пожалуйста, на черта они мне?»

А я, наверно, стоял бы перед ним минут пять. И перчатки держал бы в руках, а сам чувствовал бы — надо ему дать по морде, разбить ему морду, и все. А храбрости у меня не хватило бы. Я бы стоял и делал злое лицо. Может быть, я сказал бы ему что-нибудь ужасно обидное — это вместо того, чтобы разбить ему морду. Но возможно, что, если б я ему сказал что-нибудь обидное, он бы встал, подошел ко мне и сказал: «Слушай, Колфилд, ты, кажется, назвал меня жуликом?» И, вместо того чтобы сказать: «Да, назвал, грязная ты скотина, мерзавец!», я бы, наверно, сказал: «Я знаю только, что эти чертовы перчатки оказались в твоих галошах!» И тут он сразу понял бы, что я его бить не стану, и, наверно, сказал бы: «Слушай, давай начистоту: ты меня обзываешь вором, да?» И я ему, наверно, ответил бы: «Никто никого вором не обзывал. Знаю только, что мои перчатки оказались в твоих поганых галошах». И так до бесконечности.

В конце концов я, наверно, вышел бы из его комнаты и даже не дал бы ему по морде. А потом я, наверно, пошел бы в уборную, выкурил бы тайком сигарету и делал бы перед зеркалом свирепое лицо. В

общем, я про это думал всю дорогу, пока шел в гостиницу. Неприятно быть трусом. Возможно, что я не совсем трус. Сам не знаю. Может быть, я отчасти трус, а отчасти мне наплевать, пропали мои перчатки или нет. Это мой большой недостаток — мне плевать, когда у меня что-нибудь пропадает. Мама просто из себя выходила, когда я был маленький. Другие могут целыми днями искать, если у них что-то пропало. А у меня никогда не было такой вещи, которую я бы пожалел, если б она пропала. Может быть, я поэтому и трусоват. Впрочем, нельзя быть трусом. Если ты должен кому-то дать в морду и тебе этого хочется, надо бить. Но я не могу. Мне легче было бы выкинуть человека из окошка или отрубить ему голову топором, чем ударить по лицу. Ненавижу кулачную расправу. Лучше уж пусть меня бьют — хотя мне это вовсе не по вкусу, сами понимаете, — но я ужасно боюсь бить человека по лицу, лица его боюсь. Не могу смотреть ему в лицо, вот беда. Если б хоть нам обоим завязать глаза, было бы не так противно. Странная трусость, если подумать, но все же это трусость. Я себя не обманываю.

И чем больше я думал о перчатках и о трусости, тем сильнее у меня портилось настроение, и я решил по дороге зайти куда-нибудь выпить. У Эрни я выпил всего три рюмки, да и то третью не допил. Одно могу сказать — пить я умею. Могу хоть всю ночь пить, и ничего не будет заметно, особенно если я в настроении. В Хуттонской школе мы с одним приятелем, с Раймондом Голдфарбом, купили пинту виски и выпили ее в капелле в субботу вечером, там нас никто не видел. Он был пьян в стельку, а по мне ничего не было заметно, я только держался очень независимо и

беспечно. Меня стошнило, когда я ложился спать, но это я нарочно — мог бы и удержаться.

Словом, по дороге в гостиницу я совсем собрался зайти в какой-то захудалый бар, но оттуда вывалились двое совершенно пьяных и стали спрашивать, где метро. Один из них, настоящий испанец с виду, все время дышал мне в лицо вонючим перегаром, пока я объяснял, как им пройти. Я даже не зашел в этот гнусный бар, просто вернулся к себе в гостиницу.

В холле — ни души, только застоялый запах пятидесяти миллионов сигарных окурков. Вонища. Спать мне не хотелось, но чувствовал я себя прескверно. Настроение убийственное. Жить не хотелось.

И тут я влип в ужасную историю.

Не успел я войти в лифт, как лифтер сказал:

— Желаете развлечься, молодой человек? А может, вам уже поздно?

— Вы о чем? — спрашиваю. Я совершенно не понял, куда он клонит.

— Желаете девочку на ночь?

— Я? — говорю. Это было ужасно глупо, но неловко, когда тебя прямо так и спрашивают.

— Сколько вам лет, шеф? — говорит он вдруг.

— А что? — говорю. — Мне двадцать два.

— Ага. Ну так как же? Желаете? Пять долларов на время, пятнадцать за ночь. — Он взглянул на часы. — До двенадцати дня. Пять на время, пятнадцать за ночь.

— Ладно, — говорю. Принципиально я против таких вещей, но меня до того тоска заела, что я даже не подумал. В том-то и беда: когда тебе скверно, ты даже думать не можешь.

— Что ладно? На время или на всю ночь?

— На время, — говорю.

— Идет. А в каком вы номере?

Я посмотрел на красный номерок на ключе.

— Двенадцать двадцать два, — говорю. Я уже жалел, что затеял все это, но отказываться было поздно.

— Ладно, пришлю ее минут через пятнадцать. — Он открыл дверь лифта, и я вышел.

— Эй, погодите, а она хорошенькая? — спрашиваю. — Мне старухи не надо.

— Какая там старуха! Не беспокойтесь, шеф!

— А кому платить?

— Ей, — говорит. — Пустите-ка, шеф! — И он захлопнул дверь прямо перед моим носом.

Я вошел в номер, примочил волосы, но я ношу ежик, его трудно как следует пригладить. Потом я попробовал, пахнет ли у меня изо рта от всех этих сигарет и от виски с содовой, которое я выпил у Эрни. Это просто: надо приставить ладонь ко рту и дыхнуть вверх, к носу. Пахло не очень, но я все-таки почистил зубы. Потом надел чистую рубашку. Я не знал, надо ли переодеваться ради проститутки, но так хоть дело нашлось, а то я что-то нервничал. Правда, я уже был немного возбужден и все такое, но все же нервничал. Если уж хотите знать правду, так я девственник. Честное слово. Сколько раз представлялся случай потерять невинность, но так ничего и не вышло. Вечно что-нибудь мешает. Например, если ты у девчонки дома, так родители приходят не вовремя, вернсе, боишься, что они придут. А если сидишь с девушкой в чьей-нибудь машине на заднем сиденье, так впереди обязательно сидит другая девчонка, все время оборачивается и смотрит, что у нас делается. Словом, всегда что-нибудь мешает. Все-таки раза два это чуть-чуть не случилось. Особенно один раз, это я по-

мню. Но что-то помешало, только я уже забыл, что именно. Главное, что как только дойдет до этого, так девчонка, если она не проститутка или вроде того, обязательно скажет: «Не надо, перестань». И вся беда в том, что я ее слушаюсь. Другие не слушаются. А я не могу. Я слушаюсь. Никогда не знаешь — ей и вправду не хочется, или она просто боится, или она нарочно говорит «перестань», чтобы ты был виноват, если что случится, а не она. Словом, я сразу слушаюсь. Главное, мне их всегда жалко. Понимаете, девчонки такие дуры, просто беда. Их как начнешь целовать и все такое, они сразу теряют голову. Вы поглядите на девчонку, когда она как следует распалится, — дура дурой! Я и сам не знаю, — они говорят «не надо», и я их слушаюсь. Потом жалеешь, когда проводишь ее домой, но все равно я всегда слушаюсь.

А тут, пока я менял рубашку, я подумал, что наконец представился случай. Подумал, раз она проститутка, так, может быть, я у нее хоть чему-нибудь научусь — а вдруг мне когда-нибудь придется жениться? Меня это иногда беспокоит. В Хуттонской школе я как-то прочитал одну книжку про одного ужасно утонченного, изящного и распутного типа. Его звали мосье Бланшар, как сейчас помню. Книжка гадостная, но этот самый Бланшар ничего. У него был здоровенный замок на Ривьере, в Европе, и в свободное время он главным образом лупил палкой каких-то баб. Вообще он был храбрый и все такое, но женщин он избивал до потери сознания. В одном месте он говорит, что тело женщины — скрипка и что надо быть прекрасным музыкантом, чтобы заставить его звучать. В общем, дрянная книжица — это я сам знаю, — но эта скрипка никак у меня не выходила из головы. Вот почему мне хотелось немножко поду-

читься, на случай если я женюсь. Колфилд и его волшебная скрипка, черт возьми! В общем, пошлятина, а может быть, и не совсем. Мне бы хотелось быть опытным во всяких таких делах. А то, по правде говоря, когда я с девчонкой, я и не знаю как следует, что с ней делать. Например, та девчонка, про которую я рассказывал, что мы с ней чуть не спутались, так я битый час возился, пока стащил с нее этот проклятый лифчик. А когда наконец стащил, она мне готова была плюнуть в глаза.

Ну так вот, я ходил по комнате и ждал, пока эта проститутка придет. Я все думал — хоть бы она была хорошенькая. Впрочем, мне было все равно. Лишь бы это поскорее кончилось. Наконец кто-то постучал, и я пошел открывать, но чемодан стоял на самой дороге, и я об него споткнулся и грохнулся так, что чуть не сломал ногу. Всегда я выбираю самое подходящее время, чтоб споткнуться обо что-нибудь.

Я открыл двери — и за ними стояла эта проститутка. Она была в спортивном пальто, без шляпы. Волосы у нее были светлые, но, видно, она их подкрашивала. И вовсе не старая.

— Здравствуйте! — говорю самым светским тоном, будь я неладен.

— Это про вас говорил Морис? — спрашивает. Вид у нее был не очень-то приветливый.

— Это лифтер?

— Лифтер, — говорит.

— Да, про меня. Заходите, пожалуйста! — говорю. Я разговаривал все непринужденней, ей-богу! Чем дальше, тем непринужденней.

Она вошла, сразу сняла пальто и швырнула его на кровать. На ней было зеленое платье. Потом она села

как-то бочком в кресло у письменного стола и стала качать ногой вверх и вниз. Положила ногу на ногу и качает одной ногой то вверх, то вниз. Нервничает, даже не похоже на проститутку. Наверно, оттого, что она была совсем девчонка, ей-богу. Чуть ли не моложе меня. Я сел в большое кресло рядом с ней и предложил ей сигарету.

— Не курю, — говорит. Голос у нее был тонкий-претонкий. И говорит еле слышно. Даже не сказала спасибо, когда я предложил сигарету. Видно, ее этому не учили.

— Разрешите представиться, — говорю. — Меня зовут Джим Стил.

— Часы у вас есть? — говорит. Плевать ей было, как меня зовут. — Слушайте, — говорит, — а сколько вам лет?

— Мне? Двадцать два.

— Будет врать-то!

Странно, что она так сказала. Как настоящая школьница. Можно было подумать, что проститутка скажет: «Да как же, черта лысого!» или «Брось заливать!», а не по-детски: «Будет врать-то!»

— А вам сколько? — спрашиваю.

— Сколько надо! — говорит. Даже острит, подумайте! — Часы у вас есть? — спрашивает, потом вдруг встает и снимает платье через голову.

Мне стало ужасно не по себе, когда она сняла платье. Так неожиданно, честное слово. Знаю, если при тебе вдруг снимают платье через голову, так ты должен что-то испытывать, какое-то возбуждение или вроде того, но я ничего не испытывал. Наоборот — я только смутился и ничего не почувствовал.

— Часы у вас есть?

— Нет, нет, — говорю. Ох, как мне было неловко! — Как вас зовут? — спрашиваю. На ней была только одна рубашонка. Ужасно неловко. Честное слово, неловко.

— Санни, — говорит. — Ну, давай-ка.

— А разве вам не хочется сначала поговорить? — спросил я. Ребячество, конечно, но мне было ужасно неловко. — Разве вы так спешите?

Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего.

— О чем тут разговаривать? — спрашивает.

— Не знаю. Просто так. Я думал — может быть, вам хочется поболтать.

Она опять села в кресло у стола. Но ей это не понравилось. Она опять стала качать ногой — очень нервная девчонка!

— Может быть, хотите сигарету? — спрашиваю. Забыл, что она не курит.

— Я не курю. Слушайте, если у вас есть о чем говорить — говорите. Мне некогда.

Но я совершенно не знал, о чем с ней говорить. Хотел было спросить, как она стала проституткой, но побоялся. Все равно она бы мне не сказала.

— Вы сами не из Нью-Йорка! — говорю. Больше я ничего не мог придумать.

— Нет, из Голливуда, — говорит. Потом встала и подошла к кровати, где лежало ее платье. — Плечики у вас есть? А то как бы платье не измялось. Оно только что из чистки.

— Конечно, есть! — говорю.

Я ужасно обрадовался, что нашлось какое-то дело. Взял ее платье, повесил его в шкаф на плечики. Странное дело, но мне стало как-то грустно, когда я его вешал. Я себе представил, как она заходит в магазин

и покупает платье и никто не подозревает, что она проститутка. Приказчик, наверно, подумал, что она просто обыкновенная девочка, и все. Ужасно мне стало грустно, сам не знаю почему.

Потом я опять сел, старался завести разговор. Но разве с такой собеседницей поговоришь?

— Вы каждый вечер работаете? — спрашиваю и сразу понял, что вопрос ужасный.

— Ага, — говорит. Она уже ходила по комнате. Взяла меню со стола, прочла его.

— А днем вы что делаете?

Она пожала плечами. А плечи худые-худые.

— Сплю. Хожу в кино. — Она положила меню и посмотрела на меня. — Слушай, чего ж это мы? У меня времени нет...

— Знаете что? — говорю. — Я себя неважно чувствую. День был трудный. Честное благородное слово. Я вам заплачу и все такое, но вы на меня не обидитесь, если ничего не будет? Не обидитесь?

Плохо было то, что мне ни черта не хотелось. По правде говоря, на меня тоска напала, а не какое-нибудь возбуждение. Она нагоняла на меня жуткую тоску. А тут еще ее зеленое платье висит в шкафу. Да и вообще, как можно этим заниматься с человеком, который полдня сидит в каком-нибудь идиотском кино? Не мог я, и все, честное слово.

Она подошла ко мне и так странно посмотрела, будто не верила.

— А в чем дело? — спрашивает.

— Да ни в чем, — говорю. Тут я и сам стал нервничать. — Но я совсем недавно перенес операцию.

— Ну? А что тебе резали?

— Это самое — ну, клавикорду!

— Да? А где же это такое?

— Клавикорда? — говорю. — Знаете, она фактически внутри, в спинномозговом канале. Очень, знаете, глубоко, в самом спинном мозгу.

— Да? — говорит. — Это скверно! — И вдруг плюхнулась ко мне на колени. — А ты хорошенький!

Я ужасно нервничал. Врал вовсю.

— И еще не совсем поправился, — говорю.

— Ты похож на одного артиста в кино. Знаешь? Ну, как его? Да ты знаешь. Как же его зовут?

— Не знаю, — говорю. А она никак не слезает с моих коленей.

— Да нет, знаешь! Он был в картине с Мельвином Дугласом. Ну, тот, который играл его младшего брата. Тот, что упал с лодки. Вспомнил?

— Нет, не вспомнил. Я вообще почти не хожу в кино.

Тут она вдруг стала баловаться. Грубо так, понимаете.

— Перестаньте, пожалуйста, — говорю. — Я не в настроении. Я же вам сказал — я только что перенес операцию.

Она с моих коленей не встала, но вдруг покосилась на меня — а глаза злющие-презлющие.

— Слушай-ка, — говорит, — я уже спала, а этот чертов Морис меня разбудил. Что я, по-твоему...

— Да я же сказал, что заплачу вам. Честное слово, заплачу. У меня денег уйма. Но я только что перенес серьезную операцию, я еще не поправился.

— Так какого же черта ты сказал этому дураку Морису, что тебе нужно девочку? Раз тебе оперировали эту твою, как ее там... Зачем ты сказал?

— Я думал, что буду чувствовать себя много лучше. Но я слишком преждевременно понадеялся. Серьезно говорю. Не обижайтесь. Вы на минутку встаньте, я только возьму бумажник. Встаньте на минуту!

Злая она была как черт, но все-таки встала с моих коленей, так что я смог подойти к шкафу и достать бумажник. Я вынул пять долларов и подал ей.

— Большое спасибо, — говорю. — Огромное спасибо.

— Тут пять. А цена — десять.

Видно было, она что-то задумала. Недаром я боялся, я был уверен, что так и будет.

— Морис сказал: пять, — говорю. — Он сказал: до утра пятнадцать, а на время пять.

— Нет, десять.

— Он сказал — пять. Простите, честное слово, но больше я не могу.

Она пожала плечами, как раньше, очень презрительно.

— Будьте так добры, дайте мне платье. Если только вам не трудно, конечно!

Жуткая девчонка. Говорит таким тонким голоском, и все равно с ней жутковато. Если бы она была толстая старая проститутка, вся намазанная, было бы не так жутко.

Достал я ее платье. Она его надела, потом взяла пальтишко с кровати.

— Ну, пока, дурачок! — говорит.

— Пока! — говорю. Я не стал ее благодарить. И хорошо, что не стал.

## 14

Она ушла, а я сел в кресло и выкурил две сигареты подряд. За окном уже светало. Господи, до чего мне было плохо. Такая тощища, вы себе представить не можете. И я стал разговаривать вслух с Алли. Я с

ним часто разговариваю, когда меня тоска берет. Я ему говорю — пускай возьмет свой велосипед и ждет меня около дома Бобби Феллона. Бобби Феллон жил рядом с нами в Мейне — еще тогда, давно. И случилось вот что: мы с Бобби решили ехать к озеру Седебиго на велосипедах. Собирались взять с собой завтрак, и все, что надо, и наши мелкокалиберные ружья — мы были совсем мальчишки, думали, из мелкокалиберных можно настрелять дичи. В общем, Алли услыхал, как мы договорились, и стал проситься с нами, а я его не взял, сказал, что он еще маленький. А теперь, когда меня берет тоска, я ему говорю: «Ладно, бери велосипед и жди меня около Бобби Феллона. Только не копайся!»

И не то чтоб я его никогда не брал с собой. Нет, брал. Но в тот день не взял. А он ничуть не обиделся — он никогда не обижался, — но я всегда про это вспоминаю, особенно когда становится очень уж тоскливо.

Наконец я все-таки разделся и лег. Лег и подумал: помолиться, что ли? Но ничего не вышло. Не могу я молиться, даже когда мне хочется. Во-первых, я отчасти атеист. Христос мне, в общем, нравится, но вся остальная муть в Библии — не особенно. Взять, например, апостолов. Меня они, по правде говоря, раздражают до чертиков. Конечно, когда Христос умер, они вели себя ничего, но, пока он жил, ему от них было пользы, как от дыры в башке. Все время они его подводили. Мне в Библии меньше всего нравятся эти апостолы. Сказать по правде, после Христа я больше всего люблю в Библии этого чудачка, который жил в пещере и все время царапал себя камнями и так далее. Я его, дурака несчастного, люблю в десять раз больше, чем всех этих апостолов. Когда я был в Хут-

тонской школе, я вечно спорил с одним типом на нашем этаже, с Артуром Чайлдсом. Этот Чайлдс был квакер и вечно читал Библию. Он был славный малый, я его любил, но мы с ним расходились во мнениях насчет Библии, особенно насчет апостолов. Он меня уверял, что, если я не люблю апостолов, значит, я и Христа не люблю. Он говорит, раз Христос сам выбрал себе апостолов, значит, надо их любить. А я говорил — знаю, да, он их выбрал, но выбрал-то он их случайно. Я говорил, что Христу некогда было в них разбираться и я вовсе Христа не виню. Разве он виноват, что ему было некогда? Помню, я спросил Чайлдса, как он думает: Иуда, который предал Христа, попал он в ад, когда покончил с собой, или нет? Чайлдс говорит — конечно, попал. И тут я с ним никак не мог согласиться. Я говорю: готов поставить тысячу долларов, что никогда Христос не отправил бы этого несчастного Иуду в ад! Я бы и сейчас прозакладывал тысячу долларов, если бы они у меня были. Апостолы, те, наверно, отправили бы Иуду в ад — и не задумались бы! А вот Христос — нет, головой ручаюсь. Этот Чайлдс говорил, что я так думаю потому, что не хожу в церковь. Что правда, то правда. Не хожу. Во-первых, мои родители — разной веры, и все дети у нас в семье — атеисты. Честно говоря, я священников просто терпеть не могу. В школах, где я учился, все священники как только начнут проповедовать, у них голоса становятся масленые, противные. Ох, ненавижу! Не понимаю, какого черта они не могут разговаривать нормальными голосами. До того кривляются, слушать невозможно.

Словом, когда я лег, мне никакие молитвы на ум не шли. Только начну припоминать молитву — тут же

слышу голос этой Санни, как она меня обзывает дурачком. В конце концов я сел на постель и выкурил еще сигарету. Наверно, я выкурил не меньше двух пачек после отъезда из Пэнси.

И вдруг, только я лег и закурил, кто-то постучался. Я надеялся, что стучат не ко мне, но я отлично понимал, что это именно ко мне. Не знаю почему, но я сразу понял, кто это. Я очень чуткий.

— Кто там? — спрашиваю. Я здорово перепугался. В этих делах я трусоват.

Опять постучали. Только еще громче.

Наконец я встал в одной пижаме и открыл двери. Даже не пришлось включать свет — уже было утро. В дверях стояли эта Санни и Морис, прыщеватый лифтер.

— Что такое? — спрашиваю. — Что вам надо? — голос у меня ужасно дрожал.

— Пустяк, — говорит этот Морис. — Всего пять долларов. — Он говорил за обоих, а девчонка только стояла разинув рот, и все.

— Я ей уже заплатил, — говорю. — Я ей дал пять долларов. Спросите у нее. — Ох, как у меня дрожал голос.

— Надо десять, шеф. Я вам говорил. Десять на время, пятнадцать до утра. Я же вам говорил.

— Неправда, не говорили. Вы сказали — пять на время. Да, вы сказали, что за ночь пятнадцать, но я ясно слышал...

— Выкладывайте, шеф!

— За что? — спрашиваю. Господи, у меня так колотилось сердце, что вот-вот выскочит. Хоть бы я был одет. Невыносимо стоять в одной пижаме, когда случается такое.

— Ну, давайте, шеф, давайте! — говорит Морис. Да как толкнет меня своей грязной лапой — я чуть не грохнулся на пол, сильный он был, сукин сын. И не успел я оглянуться, они оба уже стояли в комнате. Вид у них был такой, будто это их комната. Санни уселась на подоконник. Морис сел в кресло и расстегнул ворот — на нем была лифтерская форма. Господи, как я нервничал! — Ладно, шеф, выкладывайте денежки! Мне еще на работу идти.

— Вам уже сказано, я больше ни цента не должен. Я же ей дал пятерку.

— Бросьте зубы заговаривать. Деньги на стол!

— За что я буду платить еще пять долларов? — говорю. А голос у меня все дрожит. — Вы хотите меня обжулить.

Морис расстегнул свою куртку до конца. Под ней был фальшивый воротничок без всякой рубашки. Живот у него был толстый, волосатый, здоровенный.

— Никто никого не собирается обжуливать, — говорит он. — Деньги давайте, шеф!

— Не дам!

Только я это сказал, как он встал и пошел на меня. Вид у него был такой, будто он ужасно, ужасно устал или ему все надоело. Господи, как я испугался. Помню, я скрестил руки на груди. Господи, как я испугался. Хуже всего то, что я был в одной пижаме.

— Давайте деньги, шеф! — Он подошел ко мне вплотную. Он все время повторял одно и то же: — Деньги давайте, шеф! — Форменный кретин.

— Не дам.

— Шеф, вы меня доведете, придется с вами грубо обойтись. Не хочу вас обижать, а придется, как видно. Вы нам должны пять монет.

— Ничего я вам не должен, — говорю. — А если вы меня только тронете, я заору на всю гостиницу. Всех перебужу. Полицию, всех! — Сам говорю, а голос у меня дрожит, как студень.

— Давай ори! Ори во всю глотку! Давай! Хочешь, чтоб твои родители узнали, что ты ночь провел с девкой! А еще из хорошей семьи. — Он был хитрый, этот сукин кот. Здорово хитрый.

— Оставьте меня в покое! Если бы вы сказали десять, тогда другое дело. А вы определенно сказали...

— Отдадите вы нам деньги или нет? — Он прижал меня к самой двери. Прямо навалился на меня своим пакостным волосатым животом.

— Оставьте меня! Убирайтесь из моей комнаты! — сказал я. А сам скрестил руки, не двигаюсь. Господи, какое я ничтожество.

И вдруг Санни заговорила, а до того она молчала:

— Слушай, Морис, взять мне его бумажник? Он вон там, на этом самом...

— Вот-вот, бери!

— Уже взяла! — говорит Санни. И показывает мне пять долларов. — Видал? Больше не беру, только долг. Я не какая-нибудь воровка. Мы не воры!

И вдруг я заплакал. И не хочу, а плачу.

— Да, не воры! Украли пять долларов, а сами...

— Молчать! — говорит Морис и толкает меня.

— Брось его, слышишь? — говорит Санни. — Пошли, ну! Долг мы с него получили. Пойдем. Слышишь, пошли отсюда!

— Иду! — говорит Морис. А сам стоит.

— Слышишь, Морис, я тебе говорю. Оставь его!

— А кто его трогает? — отвечает он невинным голосом. И вдруг как щелкнет меня по пижаме. Я не

скажу, куда он меня щелкнул, но больно было ужасно. Я ему крикнул, что он грязный, подлый кретин.

— Что ты сказал? — говорит. И руку приставил к уху, как глухой. — Что ты сказал? Кто я такой?

А я стою и реву. Меня зло берет, взбесил он меня.

— Да, ты подлый, грязный кретин, — говорю. — Грязный кретин и жулик, а года через два будешь нищим, милостыню будешь просить на улице. Размажешь сопли по всей рубахе, весь вонючий, грязный...

Тут он мне как даст! Я даже не успел увернуться или отскочить — вдруг почувствовал жуткий удар в живот.

Я не потерял сознание, потому что помню — я посмотрел на них с пола и увидел, как они уходят и закрывают за собой двери. Я долго не вставал с пола, как тогда, при Стрэдлейтерс... Но тут мне казалось, что я сейчас умру, честное слово. Казалось, что я тону, так у меня дыхание перехватило — никак не вздохнуть. А когда я встал и пошел в ванную, я даже разогнуться не мог, обеими руками держался за живот.

Но я, наверно, ненормальный. Да, клянусь богом, я сумасшедший. По дороге в ванную я вдруг стал воображать, что у меня пуля в кишках. Я вообразил, что этот Морис всадил в меня пулю. А теперь я иду в ванную за добрым глотком старого виски, чтобы успокоить нервы и начать действовать. Я представил себе, как я выхожу из ванной уже одетый, с револьвером в кармане, а сам слегка шатаюсь. И я иду по лестнице — в лифт я, конечно, не сяду. Иду, держусь за перила, а кровь капает у меня из уголка рта. Я бы спустился несколькими этажами ниже, держась за живот, а кровь так и лилась бы на пол, и потом вызвал бы лифт. И как только этот Морис открыл бы

дверцы, он увидел бы меня с револьвером в руке и завизжал бы, закричал диким, перепуганным голосом, чтоб я его не трогал. Но я бы ему показал. Шесть пуль прямо в его жирный, волосатый живот! Потом я бросил бы свой револьвер в шахту лифта — конечно, сначала стер бы отпечатки пальцев. А потом дополз бы до своего номера и позвонил Джейн, чтоб она пришла и перевязала мне рану. И я представил себе, как она держит сигарету у моих губ и я затягиваюсь, а сам истекаю кровью.

Проклятое кино! Вот что оно делает с человеком. Сами понимаете...

Я просидел в ванной чуть ли не час, принял ванну, немного отошел. А потом лег в постель. Я долго не засыпал — я совсем не устал, но в конце концов уснул. Больше всего мне хотелось покончить с собой. Выскочить в окно. Я, наверно, и выскочил бы, если б я знал, что кто-нибудь сразу подоспеет и прикроет меня, как только я упаду. Не хотелось, чтобы какие-то любопытные идиоты смотрели, как я лежу весь в крови.

## 15

Спал я недолго; кажется, было часов десять, когда я проснулся. Выкурил сигарету и сразу почувствовал, как я проголодался. Последний раз я съел две котлеты, когда мы с Броссаром и Экли ездили в кино в Эгерстаун. Это было давно — казалось, что прошло лет пятьдесят. Телефон стоял рядом, и я хотел было позвонить вниз и заказать завтрак в номер, но потом побоялся, что завтрак пришлют с этим самым лифте-

ром Морисом, а если вы думаете, что я мечтал его видеть, вы глубоко ошибаетесь. Я полежал в постели, выкурил сигарету. Хотел звякнуть Джейн — узнать, дома ли она, но настроения не было.

Тогда я позвонил Салли Хейс. Она училась в пансионе Мэри Э. Удроф, и я знал, что она уже дома: я от нее получил письмо с неделю назад. Не то чтобы я был от нее без ума, но мы были знакомы сто лет, я по глупости думал, что она довольно умная. А думал я так потому, что она ужасно много знала про театры, про пьесы, вообще про всякую литературу. Когда человек начинен такими знаниями, так не скоро сообразишь, глуп он или нет. Я в этой Салли Хейс годами не мог разобраться. Наверно, я бы раньше сообразил, что она дура, если бы мы столько не целовались. Плохо то, что, если я целуюсь с девчонкой, я всегда думаю, что она умная. Никакого отношения одно к другому не имеет, а я все равно думаю.

Словом, я ей позвонил. Сначала подошла горничная, потом ее отец. Наконец позвали ее.

— Это ты, Салли? — спрашиваю.

— Да, кто со мной говорит? — спрашивает она. Ужасная притворщица. Я же сказал ее отцу, кто ее спрашивает.

— Это Холден Колфилд. Как живешь?

— Ах, Холден! Спасибо, хорошо! А ты как?

— Чýдно. Слушай, как же ты поживаешь? Как школа?

— Ничего, — говорит, — ну, сам знаешь.

— Чýдно. Вот что я хотел спросить — ты свободна? Правда, сегодня воскресенье, но, наверно, есть утренние спектакли. Благотворительные, что ли? Хочешь пойти?

— Очень хочу, очень! Это будет изумительно!

«Изумительно»! Ненавижу такие слова! Что за пошлятина! Я чуть было не сказал ей, что мы никуда не пойдем. Потом мы немного потрепались по телефону. Верней, она трепалась, а я молчал. Она никому не даст слова сказать. Сначала она мне рассказала о каком-то пижоне из Гарварда — наверно, первокурсник, но этого она, конечно, не выдала, — будто он в лепешку расшибается. Звонит ей день и ночь. Да, день и ночь — я чуть не расхохотался. Потом еще про какого-то типа, кадета из Вест-Пойнта, — и этот готов из-за нее зарезаться. Страшное дело. Я ее попросил ждать меня под часами у отеля «Билтмор» ровно в два. Потому что утренние спектакли начинаются в половине третьего. А она вечно опаздывала. И попрощался. У меня от нее скулы сворачивало, но она была удивительно красивая.

Договорился с Салли, потом встал, оделся, сложил чемодан. Выходя из номера, я поглядел в окошко, что там эти психи делают, но у них портьеры были опущены. Утром они скромнее скромного. Потом я спустился в лифте и рассчитался с портье. Мориса, к счастью, нигде не было. Да я и не старался его увидеть, подлеца.

У гостиницы взял такси, но понятия не имел, куда мне ехать. Ехать, оказывается, некуда. Было воскресенье, а домой я не мог возвратиться до среды, в крайнем случае до вторника. А идти в другую гостиницу, чтоб мне там вышибли мозги, — нет, спасибо. Я велел шоферу везти меня на Центральный вокзал. Это рядом с отелем «Билтмор», где я должен был встретиться с Салли, и я решил сделать так. Сдам вещи на хранение в такой шкафчик, от которого дают ключ,

потом позавтракаю. Очень хотелось есть. В такси я вынул бумажник, пересчитал деньги. Не помню, сколько там оказалось, во всяком случае, не такое уж богатство. За какие-нибудь две недели я истратил чертову уйму. По натуре я ужасный мот. А что не проматываю, то теряю. Иногда я даже забываю взять сдачу в каком-нибудь ресторане или ночном кабаке. Мои родители просто приходят в бешенство. Я их понимаю. Хотя отец довольно богатый, не знаю, сколько он зарабатывает, — он вечно вкладывает деньги в какие-то постановки на Бродвее. Впрочем, эти постановки всегда проваливаются, и мама из себя выходит, когда отец с ними связывается. Вообще мама очень сдала после смерти Алли. Из-за этого я особенно боялся сказать ей, что меня опять выгнали.

Я отдал чемоданы на хранение и зашел в вокзальный буфет позавтракать. Съел я порядочно: апельсиновый сок, яичницу с ветчиной, тосты, кофе. Обычно я по утрам только выпиваю сок. Я очень мало ем, совсем мало. Оттого я такой худой. Мне прописали есть много мучного и всякой такой дряни, чтобы нагнать вес, но я и не подумал. Когда я где-нибудь бываю, я обычно беру бутерброд со швейцарским сыром и стакан солодового молока. Сущие пустяки, но зато в молоке много витаминов. Х.-В. Колфилд. Холден Витамин Колфилд.

Я ел яичницу, когда вошли две монахини с чемоданишками и сумками — наверно, переезжали в другой монастырь и ждали поезда. Они сели за стойку рядом со мной. Они не знали, куда девать чемоданы, и я им помог. Чемоданы у них были плохонькие, дешевые — не кожаные, а так, из чего попало. Знаю, это роли не играет, но я терпеть не могу дешевых

чемоданов. Стыдно сказать, но мне бывает неприятно смотреть на человека, если у него дешевые чемоданы. Вспоминается один случай. Когда я учился в Элктон-хилле, я жил в комнате с таким Диком Слейглом, и у него были дрянные чемоданы. Он их держал у себя под кроватью, а не на полке, чтобы никто не видел их рядом с моими чемоданами. Меня это расстраивало до черта, я готов был выкинуть свои чемоданы или даже обменяться с ним насовсем. Мои-то были куплены у Марка Кросса, настоящая кожа, со всеми онёрами, и стоили они черт знает сколько. Но вот что странно. Вышла такая история. Как-то я взял и засунул свои чемоданы под кровать, чтобы у старика Слейгла не было этого дурацкого комплекса неполноценности. Знаете, что он сделал? Только я засунул свои чемоданы под кровать, он их вытащил и опять поставил на полку. Я только потом понял, зачем он это сделал: он хотел, чтобы все думали, что это его чемоданы! Да, да, именно так. Странный был тип. Он всегда издевался над моими чемоданами. Говорил, что они слишком новые, слишком мещанские. Это было его любимое слово. Где-то он его подхватил. Все, что у меня было, все он называл «мещанским». Даже моя самопишущая ручка была мещанская. Он ее вечно брал у меня — и все равно считал мещанской. Мы жили вместе всего месяца два. А потом мы оба стали просить, чтобы нас расселили. И самое смешное, что, когда мы разошлись, мне его ужасно не хватало, потому что у него было настоящее чувство юмора и мы иногда здорово веселились. По-моему, он тоже без меня скучал. Сначала он только поддразнивал меня — называл мои вещи мещанскими, а я и внимания не обращал, даже смешно было. Но потом я видел, что

он уже не шутит. Все дело в том, что трудно жить в одной комнате с человеком, если твои чемоданы настолько лучше, чем его, если у тебя по-настоящему отличные чемоданы, а у него нет. Вы, наверно, скажете, что если человек умен и у него есть чувство юмора, так ему наплевать. Оттого я и поселился с этой тупой скотиной, со Стрэдлейтером. По крайней мере у него чемоданы были не хуже моих.

Словом, эти две монахини сели около меня, и мы как-то разговорились. У той, что сидела рядом со мной, была соломенная корзинка — монашки и девицы из Армии спасения обычно собирают в такие деньги под Рождество.. Всегда они стоят на углах, особенно на Пятой авеню, у больших универмагов. Та, что сидела рядом, вдруг уронила свою корзинку на пол, а я нагнулся и поднял. Я спросил, собирает ли она на благотворительные цели. А она говорит — нет. Просто корзинка не поместилась в чемодан, пришлось нести в руках. Она так приветливо улыбалась, смотрит и улыбается. Нос у нее был длинный, и очки в какой-то металлической оправе, не очень-то красивые, но лицо ужасно доброе.

— Я только хотел сказать, если вы собираете деньги, я бы мог пожертвовать немножко, — говорю. — Вы возьмите, а когда будете собирать, и эти вложите.

— О, как мило с вашей стороны! — говорит она, а другая, ее спутница, тоже посмотрела на меня. Та, другая, пила кофе и читала книжку, похожую на Библию, только очень тоненькую. Но все равно книжка была вроде Библии. На завтрак они взяли только кофе с тостами. Я расстроился. Ненавижу есть яичницу с ветчиной и еще всякое, когда рядом пьют только кофе с тостами.

Они приняли у меня десять долларов. И все время спрашивали, могу ли я себе это позволить. Я им сказал, что денег у меня достаточно, но они как-то не верили. Но деньги все же взяли. И так они обе меня благодарили, что мне стало неловко. Я перевел разговор на общие темы и спросил их, куда они едут. Они сказали, что они учительницы, только что приехали из Чикаго и собираются преподавать в каком-то интернате, не то на Сто шестьдесят восьмой, не то на Сто восемьдесят шестой улице, — словом, где-то у черта на рогах. Та, что сидела рядом, в металлических очках, оказывается, преподавала английский, а ее спутница — историю и американскую конституцию. Меня так и разбирало любопытство — интересно бы узнать, как эта преподавательница английского могла быть монахиней и все-таки читать некоторые книжки по английской литературе. Не то чтобы непристойные книжки, я не про них, но те, в которых про любовь, про влюбленных, вообще про все такое. Возьмите, например, Юстасию Вэй из «Возвращения на родину» Томаса Гарди. Никаких особенных страстей в ней не было, и все-таки интересно, что думает монахиня, когда читает про эту самую Юстасию. Но я, конечно, ничего не спросил. Я только сказал, что по английской литературе учился лучше всего.

— Да что вы? Как приятно! — обрадовалась преподавательница английского, та, что в очках. — Что же вы читали в этом году? Мне очень интересно узнать!

Приветливая такая, добрая.

— Да как сказать, все больше англосаксов — знаете, Беовульф и Грендел и «Рэндал, мой сын», ну, все, что попадается. Но нам задавали и домашнее чте-

ние, за это ставили особые отметки. Я прочел «Возвращение на родину» Томаса Гарди, «Ромео и Джульетту», «Юлия Це...».

— Ах, «Ромео и Джульетта»! Какая прелесть! Вам, наверно, очень понравилось? — Она говорила совсем не как монахиня.

— Да, очень. Очень понравилось. Кое-что мне не совсем понравилось, но, в общем, очень трогательно.

— Что же вам не понравилось? Вы не припомните, что именно?

По правде говоря, мне было как-то неловко обсуждать с ней «Ромео и Джульетту». Ведь в этой пьесе есть много мест про любовь и всякое такое, а она как-никак была монахиня, но она сама спросила, и пришлось рассказать.

— Знаете, я не в восторге от самих Ромео и Джульетты, — говорю, — то есть они мне нравятся, и все же... сам не знаю! Иногда просто досада берет. Я хочу сказать, что мне было гораздо жальче, когда убили Меркуцио, чем когда умерли Ромео с Джульеттой. Понимаете, Ромео мне как-то перестал нравиться, после того как беднягу Меркуцио проткнул шпагой этот самый кузен Джульетты — забыл, как его звали...

— Тибальд.

— Правильно, Тибальд. Всегда я забываю, как его зовут. А виноват Ромео. Мне он больше всех нравился, этот Меркуцио. Сам не знаю почему. Конечно, все эти Монтекки и Капулетти тоже ничего — особенно Джульетта, — но Меркуцио... нет, мне трудно объяснить. Он был такой умный, веселый. Понимаете, меня злость берет, когда таких убивают, — таких веселых, умных, да еще по чужой вине. С Ромео и Джульеттой дело другое — они сами виноваты.

— В какой вы школе учитесь, дружок? — спрашивает она. Наверно, ей надоело разговаривать про Ромео и Джульетту.

Я говорю — в Пэнси. Оказывается, она про нее слышала. Сказала, что это отличная школа. Я промолчал. Тут ее спутница, та, что преподавала историю и конституцию, говорит, что им пора идти. Я взял их чеки, но они не позволили мне заплатить. Та, что в очках, отняла у меня чеки.

— Вы и так были слишком щедры, — говорит. — Вы удивительно милый мальчик. — Она сама была славная. Немножко напоминала мать Эрнеста Морроу, с которой я ехал в поезде. Особенно когда улыбалась. — Так приятно было с вами поговорить, — добавила она.

Я сказал, что мне тоже было очень приятно с ними поговорить. И я не притворялся. Но мне было бы еще приятнее с ними разговаривать, если б я не боялся, что они каждую минуту могут спросить, католик я или нет. Католики всегда стараются выяснить, католик ты или нет. Со мной это часто бывает, главным образом потому, что у меня фамилия ирландская, а коренные ирландцы почти все католики. Кстати, мой отец раньше тоже был католиком. А потом, когда женился на моей маме, бросил это дело. Но католики вообще всегда стараются выяснить, католик ты или нет, даже если не знают, какая у тебя фамилия. У меня был знакомый католик, Луи Горман, я с ним учился в Хуттонской школе. Я с ним там с первым и познакомился. Мы сидели рядом в очереди на прием к врачу — был первый день занятий, мы ждали медицинского осмотра и разговорились про теннис. Он очень увлекался теннисом, и я тоже. Он рассказал,

что каждое лето бывает на состязаниях в Форест-хилле, а я сказал, что тоже там бываю, а потом мы стали обсуждать, кто лучший игрок. Для своих лет он здорово разбирался в теннисе. Всерьез интересовался. И потом ни с того ни с сего посреди разговора спрашивает: «Ты не знаешь, где тут католическая церковь?» Суть была в том, что по его тону я сразу понял: он хочет выяснить, католик я или нет. Узнать хочет. И дело не в том, что он предпочитал католиков, нет, ему просто хотелось узнать. Он с удовольствием разговаривал про теннис, но сразу было видно — ему этот разговор доставил бы еще больше удовольствия, если б он узнал, что я католик. Меня такие штуки просто бесят. Я не хочу сказать, что из-за этого весь наш разговор пошел к чертям, нет, разговор продолжался, но как-то не так. Вот почему я был рад, что монахини меня не спросили, католик я или нет. Может быть, это и не помешало бы нашему разговору, но все-таки было бы иначе. Я ничуть не обвиняю католиков. Может быть, если бы я был католик, я бы тоже стал спрашивать. В общем, это чем-то похоже на ту историю с чемоданами, про которую я рассказывал. Я только хочу сказать, что настоящему, хорошему разговору такие вещи только мешают. Вот и все.

А когда эти две монахини встали и собрались уходить, я вдруг сделал ужасно неловкую и глупую штуку. Я курил сигарету, и когда я встал, чтобы с ними проститься, я нечаянно пустил дым прямо им в глаза. Совершенно нечаянно. Я извинялся как сумасшедший, и они очень мило и вежливо приняли мои извинения, но все равно вышло страшно неловко.

Когда они ушли, я стал жалеть, что дал им только десять долларов на благотворительность. Но иначе

нельзя было: я условился пойти с Салли Хейс на утренний спектакль, и нельзя было тратить все деньги. Но все равно я огорчился. Чертовы деньги. Вечно изза них расстраиваешься.

## 16

Было около двенадцати, когда я кончил завтракать, а встретиться с Салли мы должны были только в два, и я решил подольше погулять. Эти две монахини не выходили у меня из головы. Я все вспоминал эту старую соломенную корзинку, с которой они ходили собирать лепту, когда у них не было уроков. Я старался представить себе, как моя мама или еще ктонибудь из знакомых — тетя или эта вертихвостка, мать Салли Хейс, — стоят около универмага и собирают деньги для бедных в старые, потрепанные соломенные корзинки. Даже представить себе трудно. Мою маму еще можно себе представить, но тех двоих — никак. Хотя моя тетушка очень много занимается благотворительностью — тут и Красный Крест, и всякое другое, — но она всегда отлично одета, и когда занимается благотворительностью, она тоже отлично одета, губы накрашены и все такое. Я не мог себе представить, что она могла бы заниматься благотворительными делами, если б пришлось надеть монашескую рясу и не красить губы. А мамаша Салли! Да, она бы согласилась ходить с кружкой, собирать деньги, только если б каждый, кто даст деньги, рассыпался бы перед ней мелким бесом. А если бы люди просто опускали деньги в кружку и уходили, ничего не говоря, не обратив на нее внимания, так она через час уже отва-

лила бы. Ей бы сразу надоело. Отдала бы кружку и пошла бы завтракать в какой-нибудь шикарный ресторан. Оттого мне и понравились те монахини. Сразу можно было сказать, что они-то никогда не завтракают в шикарных ресторанах. И мне стало грустно, когда я подумал, что они никогда не пойдут завтракать в шикарный ресторан. Я понимал, что это не так уж важно, но все равно мне стало грустно.

Пошел я на Бродвей просто ради удовольствия, я там сто лет не был. Кроме того, я искал магазин пластинок, открытый в воскресенье. Мне хотелось купить одну пластинку для Фиби — «Крошка Ширли Бинз». Эту пластинку было очень трудно достать. Там все про маленькую девочку, которая не хотела выходить из дому, потому что у нее выпали зубки и она стеснялась. Я слышал эту песню в Пэнси у одного мальчишки, он жил этажом выше. Хотел купить у него эту пластинку: знал, что моя Фиби просто с ума сойдет от нее, но он не продал. Пластинка была потрясающая, хоть и старая, ее напела лет двадцать назад певица-негритянка Эстелла Флетчер. Она ее пела по-южному, даже по-уличному, оттого выходило ничуть не слезливо и не слюняво. Если б пела обыкновенная белая певица, она, наверно, распустила бы слюни, а эта Эстелла Флетчер свое дело знала. Такой чудесной пластинки я в жизни не слышал. Я решил, что куплю пластинку в каком-нибудь магазине, где торгуют и по воскресеньям, а потом понесу в парк. В воскресенье Фиби часто ходит в парк — она там катается на коньках. Я знал, где она обычно бывает.

Стало теплее, чем вчера, но солнце не показывалось, и гулять было не очень приятно. Мне только одно понравилось. Впереди меня шло целое семей-

ство, очевидно из церкви, — отец, мать и мальчишка лет шести. Видно было, что они довольно бедные. На отце была светло-серая шляпа, такие всегда носят бедняки, когда хотят принарядиться. Он шел с женой и разговаривал с ней, а на мальчишку они совсем не обращали внимания. А мальчишка был мировой. Он шел не по тротуару, а вдоль него у самой обочины, по мостовой. Он старался идти точно по прямой, мальчишки любят так ходить. Идет и все время напевает себе под нос. Я нарочно подошел поближе, чтобы слышать, что он поет. Он пел такую песенку: «Если ты ловил кого-то вечером во ржи...» И голосишко у него был забавный. Пел он для собственного удовольствия, это сразу было видно. Машины летят мимо, тормозят так, что тормоза скрежещут, родители никакого внимания не обращают, а он идет себе по самому краю и распевает: «Вечером во ржи...» Мне стало веселее. Даже плохое настроение прошло.

На Бродвее все толкались, шумели. Было воскресенье, всего двенадцать часов, но все равно стоял шум. Все шли в кино — в «Парамаунт» или в «Астор», в «Стрэнд», в «Капитолий» — в общем, в какую-нибудь толкучку. Все расфуфырились — воскресенье! И это было еще противнее. А противнее всего было то, что им не терпелось попасть в кино. Тошно было на них смотреть. Я еще понимаю, если ходят в кино, когда делать нечего, но мне просто противно думать, что люди бегут, торопятся пойти в кино, что им действительно хочется туда попасть. Особенно когда миллион народу стоит в длиннющей очереди на целый квартал за билетами — какое нужно терпение! Я дождаться не мог, так хотелось поскорее уйти с этого проклятого Бродвея.

Но мне повезло: в первом же магазине пластинок я нашел «Крошку Ширли Бинз». Содрали с меня пять монет, пластинка была редкая, но я не жалел. Я так вдруг обрадовался, что не мог дождаться; поскорее бы дойти до парка и отдать эту пластинку моей Фиби.

Я вышел из магазина — тут подвернулось кафе, и я зашел. Подумал — не звякнуть ли Джейн, может, она уже вернулась домой на каникулы. Я зашел в автомат и позвонил. К несчастью, подошла ее мать, пришлось повесить трубку. Не хотелось пускаться в длинные разговоры. Вообще не люблю разговаривать с матерями девчонок. Все-таки надо было спросить, дома ли Джейн. Я бы от этого не умер. Но что-то не хотелось. Для таких разговоров требуется настроение.

Однако надо было доставать эти проклятые билеты в театр, пришлось купить газету и посмотреть, где что идет. По случаю воскресенья шли только три пьесы. Я пошел и купил два билета в партер на «Я знаю любовь». Спектакль был благотворительный, в пользу чего-то. Мне не особенно хотелось смотреть эту пьесу, но я знал, что Салли жить не может без кривлянья — обязательно распустит слюни, когда я ей скажу, что в пьесе участвуют Ланты. Салли обожает пьесы, которые считаются изысканными и серьезными, с участием Лантов и все такое. А я не люблю. Вообще, по правде сказать, я не особенно люблю ходить в театр. Конечно, кино еще хуже, но и в театре ничего хорошего нет. Во-первых, я ненавижу актеров. Они ведут себя на сцене совершенно непохоже на людей. Только воображают, что похоже. Хорошие актеры иногда довольно похожи, но не настолько, чтобы было интересно смотреть. А кроме того, если актер хороший, сразу видно, что он сам это сознает, а это сразу все

портит. Возьмите, например, сэра Лоуренса Оливье. Я видел его в «Гамлете». Д. Б. водил меня и Фиби в прошлом году. Сначала он нас повел завтракать, а потом — в кино. Он уже видел «Гамлета» и так про это рассказывал за завтраком, что мне ужасно захотелось посмотреть. Но мне, в общем, не очень понравилось. Не понимаю, что особенного в этом Лоуренсе Оливье. Голос у него потрясающий, и красив он до чертиков, и на него приятно смотреть, когда он ходит или дерется на дуэли, но он был совсем не такой, каким, по словам Д. Б., должен быть Гамлет. Он был больше похож на какого-нибудь генерала, чем на такого чудака, немножко чокнутого. Больше всего мне в этом фильме понравилось то место, когда брат Офелии — тот, что под конец дерется с Гамлетом на дуэли, — уезжает, а отец ему дает всякие советы. Пока отец ему дает эти советы, Офелия все время балуется; то вытащит у него кинжал из ножен, то его подразнит, а он старается делать вид, что слушает дурацкие советы. Это было здорово. Мне очень понравилось. Но таких мест было мало. А моей сестренке Фиби понравилось, только когда Гамлет гладил собаку по голове. Она сказала: «Как смешно, какая хорошая собака», — и собака вправду была хорошая. Все-таки придется мне прочитать «Гамлета». Плохо то, что я обязательно должен прочесть пьесу сам, про себя. Когда играет актер, я почти не могу слушать. Все боюсь, что сейчас он начнет кривляться и вообще делать все напоказ.

Билеты на спектакль с Лантами я купил, потом сел в такси и поехал в парк. Надо было бы сесть в метро, денег осталось мало, но очень хотелось поскорее убраться с этого треклятого Бродвея.

В парке было гнусно. Не очень холодно, но солнце так и не показывалось, и никого вокруг не было — одни собачьи следы, и плевки, и окурки сигар у скамеек, где сидели старики. Казалось, все скамейки совершенно сырые — промокнешь насквозь, если сядешь. Мне стало очень тоскливо, иногда неизвестно почему даже дрожь пробирала. Непохоже было, что скоро будет Рождество, вообще казалось, что больше ничего никогда не будет. Но я все-таки дошел до беговой дорожки — Фиби всегда туда ходит, она любит кататься поближе к оркестру. Смешно, что я тоже любил там кататься, когда был маленький.

Но когда я подошел к дорожке, ее там не было. Катались какие-то ребятишки, мальчики играли в мяч, но Фиби нигде не было. Тут я увидел девчушку ее лет, она сидела на скамейке одна и закрепляла конек. Я подумал, может быть, она знает Фиби и скажет мне, где ее искать, и я подошел, сел рядом и спросил:

— Ты, случайно, не знаешь Фиби Колфилд?

— Кого? — спрашивает. На ней были брючки и штук двадцать свитеров. Видно было, что свитеры ей вяжут дома: такие неуклюжие, большие.

— Фиби Колфилд. Живет на Семьдесят первой улице. Она в четвертом классе.

— А вы знаете Фиби?

— Ну да. Я се брат. Ты не знаешь, где она?

— Она в классе мисс Кэлло? — спрашивает девочка.

— Не знаю. Кажется, да.

— Значит, они сейчас в музее. Наш класс ходил в прошлую субботу.

— В каком музее? — спрашиваю.

Она пожала плечами.

— Не знаю, — говорит. — Просто в музее.

— Я понимаю, но это музей, где картины, или музей, где индейцы?

— Где индейцы.

— Спасибо большое.

Я встал, хотел было идти, но вдруг вспомнил, что сегодня воскресенье.

— Да сегодня же воскресенье! — говорю я этой девчушке.

— Ага. Значит, их там нет.

Ей никак не удавалось закрепить конек. Перчаток у нее не было, лапы красные, замерзшие. Я ей помог привернуть конек. Черт, сто лет не держал ключа в руках. Но это ничего не значит. Можно и через пятьдесят лет дать мне в руки ключ от коньков, хоть ночью, в темноте, и я сразу узнаю, что это ключ от коньков. Девочка меня поблагодарила, когда я ей привернул конек. Вежливая такая девчушка, приветливая. Ужасно приятно, когда поможешь такой малышке закрепить конек, а она говорит тебе спасибо, так вежливо, мило. Малыши, в общем, все славные. Я ее спросил, не хочет ли она выпить горячего шоколада, но она ответила: «Спасибо, не хочется». Сказала, что ее ждет подруга. Этих маленьких вечно кто-нибудь дожидается. Умора.

Хоть было воскресенье и Фиби со своим классом не пошла в музей и хоть погода была мерзкая, сырая, я все равно пошел через весь парк в Музей этнографии. Это про него говорила девчушка с ключом. Я знал эти музейные экскурсии наизусть. Фиби училась в той же начальной школе, куда я бегал маленьким, и мы вечно ходили в этот музей. Наша учительница мисс Эйглтингер водила нас туда чуть ли не каждую суббо-

ту. Иногда мы смотрели животных, иногда всякие древние индейские изделия: посуду, соломенные корзинки, много чего. С удовольствием вспоминаю музей даже теперь. Помню, как после осмотра этих индейских изделий нам показывали какой-нибудь фильм в большой аудитории. Про Колумба. Всегда почти нам показывали, как Колумб открыл Америку и как он мучился, пока не выцыганил у Фердинанда с Изабеллой деньги на корабль, а потом матросы ему устроили бунт. Никого особенно этот Колумб не интерссовал, но ребята всегда приносили с собой леденцы и резинку, и в этой аудитории так хорошо пахло. Так пахло, как будто на улице дождь (хотя дождя, может, и не было), а ты сидишь тут, и это единственное сухое и уютное место на свете. Любил я этот дурацкий музей, честное слово. Помню, сначала мы проходили через индейский зал, а оттуда уже в аудиторию. Зал был длинный-предлинный, а разговаривать там надо было шепотом. Впереди шла учительница, а за ней весь класс. Шли парами, у меня тоже была пара. Обычно со мной ставили одну девочку, звали ее Гертруда Левина. Она всегда держалась за руку, а рука у нее была липкая или потная. Пол в зале был плиточный, и, если у тебя в руке были стеклянные шарики и ты их ронял, грохот подымался несусветный и учительница останавливала весь класс и подходила посмотреть, в чем дело. Но она никогда не сердилась, наша мисс Эйглтингер. Потом мы проходили мимо длинной-предлинной индейской лодки — длиннсй, чем три «кадиллака», если их поставить один за другим. А в лодке сидело штук двадцать индейцев, один на веслах, другие просто стояли, вид у них был свирепый, и лица у всех раскрашенные. А на корме этой лодки

сидел очень страшный человек в маске. Это был их колдун. У меня от него мурашки бегали по спине, но все-таки он мне нравился. А еще, когда проходишь по этому залу и тронешь что-нибудь, весло там или еще что, сразу хранитель говорит: «Дети, не надо ничего трогать!», но голос у него добрый, не то что у какого-нибудь полисмена. Дальше мы проходили мимо огромной стеклянной витрины, а в ней сидели индейцы, терли палочки, чтоб добыть огонь, а одна женщина ткала ковер. Эта самая женщина, которая ткала ковер, нагнулась, и видна была ее грудь. Мы все заглядывались на нее, даже девочки — они еще были маленькие, и у них самих еще никакой груди не было, как у мальчишек. А перед самой дверью в аудиторию мы проходили мимо эскимоса. Он сидел над озером, над прорубью, и ловил рыбу. У самой проруби лежали две рыбы, которые он поймал. Сколько в этом музее было таких витрин! А на верхнем этаже их было еще больше, там олени пили воду из ручьев и птицы летели зимовать на юг. Те птицы, что поближе, были чучела и висели на проволочках, а те, что позади, были просто нарисованы на стене, но казалось, что все они по-настоящему летят на юг, а если наклонить голову и посмотреть на них снизу вверх, то кажется, что они просто мчатся на юг. Но самое лучшее в музее было то, что там все оставалось на местах. Ничто не двигалось. Можно было сто тысяч раз проходить, и всегда эскимос ловил рыбу и двух уже поймал, птицы всегда летели на юг, олени пили воду из ручья, и рога у них были все такие же красивые, а ноги такие же тоненькие, и эта индианка с голой грудью всегда ткала тот же самый ковер. Ничто не менялось. Менялся только ты сам. И не то чтобы ты сразу становился много

старше. Дело не в этом. Но ты менялся, и все. То на тебе было новое пальто. То ты шел в паре с кем-нибудь другим, потому что прежний твой товарищ был болен скарлатиной. А то другая учительница вместо мисс Эйглтингер приводила класс в музей. Или ты утром слышал, как отец с матерью ссорились в ванной. А может быть, ты увидел на улице лужу и по ней растеклись радужные пятна от бензина. Словом, ты уже чем-то стал не тот — я не умею как следует объяснить, чем именно. А может быть, и умею, но что-то не хочется.

На ходу я вытащил из кармана охотничью шапку и надел ее. Я знал, что не встречу никого из знакомых, а было очень сыро. Я шел и шел и все думал, как моя сестренка ходит по субботам в тот же музей, что и я. Я подумал — вот она смотрит на то же, на что я смотрел, а сама каждый раз становится другой. От этих мыслей у меня не то чтобы окончательно испортилось настроение, но веселого в них было маловато. Лучше бы некоторые вещи не менялись. Хорошо, если б их можно было поставить в застекленную витрину и не трогать. Знаю, что так нельзя, но это-то и плохо. Я все время об этом думал, пока шел по парку.

Проходя мимо площадки для игр, я остановился и посмотрел, как двое малышей качаются на доске. Один был толстяк, и я взялся рукой за тот конец, где сидел худенький, чтобы их уравновесить, но сразу понял, что я им мешаю, и отошел.

А потом случилась глупейшая штука. Я подошел к музею и сразу почувствовал, что ни за какие деньги туда не пойду. Не тянуло туда — и все, а ведь я весь парк прошел и так ждал этого! Конечно, будь Фиби

там, я, наверно, зашел бы, но ее там не было. И я взял такси у входа в музей и поехал в отель «Билтмор». Ехать не хотелось, но я уже назначил там встречу с Салли.

## 17

Я приехал в отель слишком рано, сел на кожаный диван под часами и стал разглядывать девчонок. Во многих пансионах и колледжах уже начались каникулы, и в холле толпились тысячи девчонок, ждали, пока за ними зайдут их кавалеры. Одни девчонки сидели, скрестив ноги, другие держались прямо, у одних девчонок ноги были мировые, у других — безобразные, одни девчонки с виду были хорошие, а по другим сразу было видно, что они дрянь, стоит их только поближе узнать. Вообще смотреть на них было приятно, вы меня понимаете. Приятно и вместе с тем как-то грустно, потому что все время думалось: а что с ними со всеми будет? Ну, окончат они свои колледжи, пансионы. Я подумал, что большинство, наверно, выйдут замуж за каких-нибудь гнусных типов. За таких типов, которые только и знают, что хвастать, сколько миль они могут сделать на своей дурацкой машине, истратив всего галлон горючего. За этих типов, которые обижаются как маленькие, когда их обыгрываешь не только в гольф, но и в какую-нибудь дурацкую игру вроде пинг-понга. За очень подлых типов. За типов, которые никогда ни одной книжки не читают. За ужасно нудных типов. Впрочем, это понятие относительное, кого можно считать занудой, а кого — нет. Я ничего в этом не понимаю. Серьезно, не понимаю.

Когда я учился в Элктон-хилле, я месяца два жил в комнате с одним мальчишкой, его звали Гаррис Маклин. Он был очень умный и все такое, но большего зануды свет не видал. Голос у него был ужасно скрипучий, и он все время говорил не умолкая. Все время говорил, и самое ужасное то, что он никогда не говорил о чем-нибудь интересном. Но одно он здорово умел. Этот черт умел свистеть, как никто. Оправляет свою постель или вешает вещи в шкаф — он всегда развешивал свои вещи в шкафу, доводил меня до бешенства, — словом, что-нибудь делает, а сам свистит, если только не долбит тебя своим скрипучим голосом. Он даже умел насвистывать классическую музыку, но лучше всего насвистывал джаз. Насвистывает какую-нибудь ужасно лихую джазовую песню вроде «Блюз на́ крыше», пока развешивает свои манатки, и так легко, так славно свистит, что просто радуешься. Конечно, я ему никогда не говорил, что он замечательно свистит. Не станешь же человеку говорить прямо в глаза: «Ты замечательно свистишь!» Но хотя я от него чуть не выл — до того он был нудный, — я прожил с ним в одной комнате целых два месяца, и все из-за того, что такого замечательного свистуна никогда в жизни не слыхал. Так что еще вопрос, кто зануда, кто — нет. Может быть, нечего слишком жалеть, если какая-нибудь хорошая девчонка выйдет замуж за нудного типа, — в общем, они довольно безобидные, а может быть, они втайне здорово умеют свистеть или еще что-нибудь. Кто ж его знает, не мне судить.

Наконец моя Салли появилась на лестнице, и я спустился ей навстречу. До чего же она была красивая! Честное слово! В черном пальто и в каком-то

черненьком беретике. Обычно она ходит без шапки, но берет ей шел удивительно. Смешно, что, как только я ее увидел, мне захотелось на ней жениться. Нет, я все-таки ненормальный. Она мне даже не очень нравилась, а тут я вдруг почувствовал, что я влюблен и готов на ней жениться. Ей-богу, я ненормальный, сам сознаю!

— Холден! — говорит она. — Как я рада! Сто лет не виделись! — Голос у нее ужасно громкий, даже неловко, когда где-нибудь с ней встречаешься. Ей-то все сходило с рук, потому что она была такая красивая, но у меня от смущения все кишки переворачивало.

— Рад тебя видеть, — сказал я и не врал, ей-богу. — Ну, как живешь?

— Изумительно, чудно! Я не опоздала?

Нет, говорю, но на самом деле она опоздала минут на десять. Но мне было наплевать. Вся эта чепуха, всякие там карикатуры в «Сэтердей ивнинг пост», где изображают, как парень стоит на углу с несчастной физиономией, оттого что его девушка опоздала, — все это выдумки. Если девушка приходит на свидание красивая — кто будет расстраиваться, что она опоздала? Никто!

— Надо ехать, — говорю, — спектакль начинается в два сорок.

Мы спустились по лестнице к стоянке такси.

— Что мы будем смотреть? — спросила она.

— Не знаю. Лантов. Больше я никуда не мог достать билеты.

— Ах, Ланты! Какая прелесть!

Я же вам говорил — она с ума сойдет, когда услышит про Лантов.

Мы немножко целовались по дороге в театр, в такси. Сначала она не хотела, потому что боялась разма-

зать губную помаду, но я вел себя как настоящий соблазнитель, и ей ничего другого не оставалось. Два раза, когда машина тормозила перед светофорами, я чуть не падал. Проклятые шоферы, никогда не смотрят, что делают. Клянусь, они ездить не умеют. Но хотите знать, до чего я сумасшедший? Только мы обнялись покрепче, я ей вдруг говорю, что я ее люблю и все такое. Конечно, это было вранье, но соль в том, что я сам в ту минуту был уверен в этом. Нет, я ненормальный! Клянусь богом, я сумасшедший!

— Ах, милый, я тебя тоже люблю! — говорит она и тут же одним духом добавляет: — Только обещай, что ты отпустишь волосы. Теперь ежики уже выходят из моды, а у тебя такие чудные волосики!

«Волосики» — лопнуть можно!

Спектакль был не такой дрянной, как те, что я раньше видел. Но, в общем, дрянь. Про каких-то старых супругов, которые прожили пятьсот тысяч лет вместе. Начинается, когда они еще молодые и родители девушки не позволяют ей выйти за этого типа, но она все равно выходит. А потом они стареют и стареют. Муж уходит на войну, а у жены брат — пьяница. В общем, неинтересно. Я хочу сказать, что мне было все равно — помирал там у них кто-нибудь в семье или не помирал. Ничего там не было — одно актерство. Правда, муж и жена были славные старики — остроумные и все такое, но они меня тоже не трогали. Во-первых, все время, на протяжении всей пьесы, люди пили чай или еще что-то. Только откроется занавес, лакей уже подает кому-нибудь чай или жена кому-нибудь наливает. И все время кто-нибудь входит и выходит — голова кружилась оттого, что какие-то люди непрестанно вставали и садились. Альфред Лант и Линн Фонтанн

играли старых супругов, они очень хорошо играли, но мне не понравилось. Я понимал, что они не похожи на остальных актеров. Они вели себя и не как обыкновенные люди, и не как актеры, мне трудно это объяснить. Они так играли, как будто все время понимали, что они — знаменитые. Понимаете, они хорошо играли, только *слишком* хорошо. Понимаете — один еще не успевает договорить, а другой уже быстро подхватывает. Как будто это настоящие люди разговаривают, перебивая друг дружку и так далее. Все портило то, что *слишком* было похоже, как люди разговаривают и перебивают друг дружку в жизни. Они играли свои роли почти так же, как тот Эрни в Гринвич-Виллидж играл на рояле. Когда что-нибудь делаешь слишком хорошо, то, если не следить за собой, начинаешь выставляться напоказ. А тогда уже не может быть хорошо. Ну, во всяком случае, в этом спектакле они одни — я говорю про Лантов — еще были похожи на людей, у которых башка варит, это надо признать.

После первого акта мы со всеми другими пижонами пошли курить. Ну и картина! Никогда в жизни не видел столько показного ломанья. Курят вовсю, а сами нарочно громко говорят про пьесу, чтобы все слыхали, какие они умные. Какой-то липовый киноактер стоял рядом с нами и тоже курил. Не знаю его фамилию, но в военных фильмах он всегда играет того типа, который трусит перед самым боем. С ним стояла сногсшибательная блондинка, и оба они делали безразличные лица, притворялись, что не замечали, как на них смотрят. Скромные, черти! Мне смешно стало. А моя Салли почти не разговаривала, только восторгалась Лантами, ей было некогда: она всем стро-

ила глазки, ломалась. Вдруг она увидела в другом конце курилки какого-то знакомого пижона в темно-сером костюме, в клетчатом жилете. Светский лев. Аристократ. Стоит, накурился до одури, а у самого вид такой скучающий, презрительный. Салли все повторяет:

— Где-то я с ним познакомилась, я его знаю!

Всегда она всех знала. До того мне надоело, что она все время говорит одно и то же, что я ей сказал:

— Знаешь что, ну и ступай, целуйся с ним, он, наверно, обрадуется.

Она страшно обиделась на меня. Наконец этот пижон ее узнал, подошел к нам и поздоровался. Вы бы видели, как они здоровались! Как будто двадцать лет не виделись. Можно было подумать, что их детьми купали в одной ванночке. Такие друзья, что тошно смотреть. Самое смешное, что они, наверно, только один раз и встретились на какой-нибудь идиотской вечеринке. Наконец, когда они перестали пускать пузыри от радости, Салли нас познакомила. Звали его Джордж, не помню, как дальше, он учился в Эндовере. Да-да, аристократ! Вы бы на него посмотрели, когда Салли спросила его, нравится ли ему пьеса. Такие, как он, все делают напоказ, они даже место себе расчищают, прежде чем ответить на вопрос. Он сделал шаг назад — и наступил прямо на ногу даме, стоявшей сзади. Наверно, отдавил ей всю ногу! Он изрек, что пьеса сама по себе не шедевр, но, конечно, Ланты — «сущие ангелы». Ангелы, черт его дери! Ангелы! Подохнуть можно.

Потом он и Салли стали вспоминать всяких знакомых. Такого ломанья я еще в жизни не видел. Наперебой называли какой-нибудь город и тут же вспо-

минали, кто там живет из общих знакомых. Меня уже тошнило от них, когда кончился антракт. А в следующем антракте они опять завели эту волынку. Опять вспоминали какие-то места и каких-то людей. Хуже всего, что у этого пижона был такой притворный, аристократический голос, такой, знаете, утомленный снобистский голосишко. Как у девчонки. И не постеснялся, мерзавец, отбивать у меня девушку. Я даже думал, что у него хватит наглости залезть с нами в такси, он после спектакля квартала два шел с нами вместе, но ему нужно было встретиться с другими пижонами, в коктейльной. Я себе представил, как они сидят в каком-нибудь баре в своих пижонских клетчатых жилетках и критикуют спектакли, и книги, и женщин, а голоса у них такие усталые, снобистские. Сдохнуть можно от этих типов.

Мне и на Салли тошно было смотреть, когда мы сели в такси; зачем она десять часов слушала этого подонка из Эндовера? Я решил было отвезти ее домой — честное слово! — но она вдруг сказала:

— У меня гениальная мысль! — Вечно у нее гениальные мысли. — Знаешь что, — говорит, — когда тебе надо домой обедать? Ты очень спешишь или нет? Тебя дома ждут к определенному часу?

— Меня? Нет, нет, никто меня не ждет! — говорю. И это была истинная правда. — А что?

— Давай поедем кататься на коньках в Радио-сити.

Вот какие у нее гениальные мысли!

— Кататься в Радио-сити? Как, прямо сейчас?

— Хоть на часок, не больше. Тебе не хочется? Конечно, если тебе неохота...

— Разве я сказал, что не хочу? — говорю. — Пожалуйста. Если тебе так хочется.

— Ты правда хочешь? Если не хочешь — не надо. Мне решительно все равно.

Оно и видно!

— Там дают напрокат такие чудные короткие юбочки, — говорит Салли. — Дженнет Кальц на прошлой неделе брала.

Вот почему ей не терпелось туда пойти. Хотела покрасоваться в этой юбчонке, которая еле-еле прикрывает зад.

Словом, мы туда пошли, и нам сначала выдали коньки, а потом Салли надела такую синенькую юбочку, в которой только задом и вертеть. Но это ей дьявольски шло, надо сознаться. И не думайте, что она этого не понимала. Нарочно шла впереди меня, чтоб я видел, какой у нее красивый круглый задик. Надо сознаться, он и вправду ничего.

Но самое смешное, что на всем этом проклятом катке мы катались *хуже всех*. Да-да, хуже всех! Ужас, что творилось! У Салли лодыжки так подворачивались, что терлись прямо об лед. И не только вид был дурацкий, наверно, ей и больно было до черта. По крайней мере у меня все болело. Я чуть не умер. Вы бы нас видели! И противнее всего, что сотни две зевак стояли и смотрели — делать им больше было нечего, только смотреть, как люди падают.

— Может, хочешь пойти в бар, возьмем столик, выпьем чего-нибудь? — сказал я ей наконец.

— Вот это ты гениально придумал! — говорит. Она просто замучилась. Бесчеловечно так себя мучить, мне ее даже стало жалко.

Мы сняли эти подлые коньки и пошли в бар, где можно выпить, посидеть в одних чулках и посмотреть издали на конькобежцев. У столика Салли сняла пер-

чатки, и я дал ей сигарету. Вид у нее был довольно несчастный. Подошел официант, я заказал для нее кока-колу, а для себя — виски с содовой, только этот подлец отказался подать мне виски, пришлось тоже пить кока-колу. Потом я стал зажигать спички. Я часто это делаю, когда находит настроение. Даю спичке сгореть до конца, так что держать нельзя, и бросаю в пепельницу. Нервная привычка.

Вдруг ни с того ни с сего Салли спрашивает:

— Слушай, мне надо точно знать, придешь ты к нам в сочельник убирать елку или нет? Мне надо знать заранее.

Видно, она злилась, оттого что ноги болели после этих коньков.

— Я же тебе писал, что приду. Ты меня раз двадцать спрашивала. Конечно, приду.

— Понимаешь, мне надо знать наверняка, — говорит. А сама озирается, смотрит, нет ли тут знакомых.

Вдруг я перестал жечь спички, наклонился к ней через весь стол. Мне надо было о многом с ней поговорить.

— Слушай, Салли! — говорю.

— Что? — спрашивает. А сама смотрит на какую-то девчонку в другом конце зала.

— С тобой случается, что вдруг все осточертевает? — спрашиваю. — Понимаешь, бывает с тобой так, что тебе кажется — все провалится к чертям, если ты чего-нибудь не сделаешь, бывает тебе страшно? Скажи, ты любишь школу, вообще все?

— Нет, конечно, там скука смертная.

— Но ты ее ненавидишь или нет? Я знаю, что это скука смертная, но ты ненавидишь все это или нет?

— Как тебе сказать? Не то что ненавижу. Всегда как-то приходится...

— А я ненавижу. Господи, до чего я все это ненавижу. И не только школу. Все ненавижу. Ненавижу жить в Нью-Йорке. Такси ненавижу, автобусы, где кондуктор орет на тебя, чтоб выходил через заднюю площадку, ненавижу знакомиться с ломаками, которые называют Лантов «ангелами», ненавижу ездить в лифтах, когда просто хочется выйти на улицу, ненавижу мерить без конца костюмы у Брукса, когда тебе...

— Не кричи, пожалуйста! — перебила Салли.

Глупо, я и не думал кричать.

— Например, машины, — сказал я ужасно тихим голосом. — Смотри, как люди сходят с ума по машинам. Для них трагедия, если на их машине хоть малейшая царапина, и они вечно рассказывают, на сколько миль хватает галлона бензина, а как только купят новую машину, сейчас же начинают ломать голову, как бы им обменять ее на самую новейшую марку. А я даже старые машины не люблю. Понимаешь, мне не интересно. Лучше бы я себе завел лошадь, черт побери. В лошадях хоть есть что-то человеческое. С лошадью хоть поговорить можно.

— Не понимаю, о чем ты... Ты так перескакиваешь...

— Знаешь, что я тебе скажу? — сказал я. — Если бы не ты, я бы сейчас не сидел в Нью-Йорке. Если бы не ты, я бы, наверно, сейчас удрал к черту на рога. Куда-нибудь в леса или еще подальше. Ты — единственное, из-за чего я торчу здесь.

— Какой ты милый! — говорит. Но сразу было видно, что ей хочется переменить разговор.

— Ты бы поучилась в мужской школе. Попробовала бы! — говорю. — Сплошная липа. И учатся толь-

ко для того, чтобы стать какими-нибудь пронырами, заработать на какой-нибудь треклятый «кадиллак», да еще вечно притворяются, что им очень важно, проиграет их футбольная команда или нет. А целые дни только и разговору что про выпивку, девочек и что такое секс, и у всякого своя компания, какая-нибудь гнусная мелкая шайка. У баскетбольных игроков — своя шайка, у католиков — своя, у этих треклятых интеллектуалов — своя, у игроков в бридж — своя компания. Даже у абонентов этого дурацкого Книжного клуба — своя шайка. Попробуй с кем-нибудь поговорить по-настоящему.

— Нет, это неверно! — сказала Салли. — Многим мальчикам школа куда больше дает.

— Согласен! Согласен, что многим школа дает больше. А мне — ничего! Понятно? Я про это и говорю. Именно про это, черт побери! Мне вообще ничто ничего не дает. Я в плохом состоянии. Я в ужасающем состоянии!

— Да, ты в ужасном состоянии.

И вдруг мне пришла в голову мысль.

— Слушай! — говорю. — Вот какая у меня мысль. Хочешь удрать отсюда ко всем чертям? Вот что я придумал. У меня есть один знакомый в Гринвич-Вилледж, я у него могу взять машину недельки на две. Он учился в нашей школе и до сих пор должен мне десять долларов. Мы можем сделать вот что. Завтра утром мы можем поехать в Массачусетс, в Вермонт, объездить там всякие места. Красиво там до черта, понимаешь? Удивительно красиво! — Чем больше я говорил, тем больше я волновался. Я даже наклонился и схватил Салли за руку, идиот проклятый! — Нет, кроме шуток! — говорю. — У меня есть около ста

восьмидесяти долларов на книжке. Завтра утром, как только откроют банк, я их возьму, а потом можно поехать и взять машину у этого парня. Кроме шуток. Будем жить в туристских лагерях и во всяких таких местах, пока деньги не кончатся. А когда кончатся, я могу достать работу, будем жить где-нибудь у ручья, а потом когда-нибудь мы с тобой поженимся, все как надо. Я сам буду рубить для нас дрова зимой. Честное слово, нам так будет хорошо, так весело! Ну как? Ты поедешь? Поедешь со мной? Поедешь, да?

— Да как же можно? — говорит Салли. Голос у нее был злой.

— А почему нельзя? Почему, черт подери?

— Не ори на меня, пожалуйста! — говорит. И главное, врет, ничуть я на нее не орал.

— Почему нельзя? Ну, почему?

— Потому что нельзя — и все! Во-первых, мы с тобой, в сущности, еще дети. Ты подумал, что мы будем делать, когда деньги кончатся, а работу ты не достанешь? Мы с голоду умрем. И вообще все это такие фантазии, что и говорить не...

— Неправда. Это не фантазии! Я найду работу! Не беспокойся! Тебе об этом нечего беспокоиться! В чем же дело? Не хочешь со мной ехать? Так и скажи!

— Не в том дело. Вовсе не в том, — говорит Салли. Я чувствовал, что начинаю ее ненавидеть. — У нас уйма времени впереди, тогда все будет можно. Понимаешь, после того как ты окончишь университет и мы с тобой поженимся. Мы сможем поехать в тысячу чудных мест. А теперь ты...

— Нет, не сможем. Никуда мы не сможем поехать, ни в какую тысячу мест. Все будет по-другому, — говорю. У меня совсем испортилось настроение.

— Что? Я не слышу. То ты на меня орешь, то бормочешь под нос...

— Я говорю — нет, никуда мы не поедем, ни в какие «чудные места», когда я кончу университет, и все такое. Ты слушай ушами! Все будет по-другому. Нам придется спускаться в лифте с чемоданами и кучей вещей. Нам придется звонить всем родственникам по телефону, прощаться, а потом посылать им открытки из всяких гостиниц. Я буду работать в какой-нибудь конторе, зарабатывать уйму денег, и ездить на работу в машине или в автобусах по Мэдисон-авеню, и читать газеты, и играть в бридж все вечера, и ходить в кино, смотреть дурацкие короткометражки, и рекламу боевиков, и кинохронику. Кинохронику. Ох, мать честная! Сначала какие-то скачки, потом дама разбивает бутылку над кораблем, потом шимпанзе в штанах едет на велосипеде. Нет, это все не то! Да ты все равно ни черта не понимаешь!

— Может быть, не понимаю! А может быть, ты сам ничего не понимаешь! — говорит Салли. Мы уже ненавидели друг друга до визгу. Видно было, что с ней бессмысленно разговаривать по-человечески. Я был ужасно зол на себя, что затеял этот разговор.

— Ладно, давай сматываться отсюда, — говорю. — И вообще катись-ка ты знаешь куда...

Ох и взвилась же она, когда я это сказал! Знаю, не надо было так говорить, и я никогда бы не выругался, если б она меня не довела. Обычно я при девочках никогда в жизни не ругаюсь. Уж и взвилась она! Я извинялся как ошалелый, но она и слушать не хотела. Даже расплакалась. По правде говоря, я немножко испугался, что она пойдет домой и пожалуется своему отцу, что я ее обругал. Отец у нее такой

длинный, молчаливый, он вообще меня недолюбливал, подлец. Он сказал Салли, что я очень шумный.

— Нет, серьезно, прости меня! — Я очень ее уговаривал.

— Простить! Тебя простить! Странно! — говорит. Она все еще плакала, и вдруг мне стало как-то жалко, что я ее обидел.

— Пойдем, я тебя провожу домой. Серьезно.

— Я и сама доберусь, спасибо! Если ты думаешь, что я тебе позволю провожать меня, значит, ты дурак. Ни один мальчик за всю мою жизнь при мне так не ругался.

Что-то в этом было смешное, если подумать, и я вдруг сделал то, чего никак не следовало делать. Я захохотал. А смех у меня ужасно громкий и глупый. Понимаете, если бы я сидел сам позади себя в кино или еще где-нибудь, я бы, наверно, наклонился и сказал самому себе, чтобы так не гоготал. И тут Салли совсем взбесилась.

Я не уходил, все извинялся, просил у нее прощения, но она никак не хотела меня простить. Все твердила — уходи, оставь меня в покое. В конце концов я и ушел. Забрал свои башмаки и одежду и ушел без нее. Не надо было ее бросать, но мне уже все осточертело.

А по правде говоря, я и сам не понимал, зачем ей все это наговорил. Насчет поездки в Массачусетс, в Вермонт, вообще все. Наверно, я не взял бы ее с собой, даже если б она сама напрашивалась. Разве с такими, как она, можно путешествовать? Но самое страшное, что я *искренне* предлагал ей ехать со мной. Это самое страшное. Нет, я все-таки ненормальный, честное слово!

# 18

Мне захотелось есть, когда я вышел с катка, и я забежал в буфет, съел бутерброд с сыром и выпил молока, а потом зашел в телефонную будку. Я подумал — может быть, все-таки звякнуть Джейн еще раз, узнать, приехала она домой или нет. Ведь у меня весь вечер был свободен, и я подумал — звякну ей, и, если она уже дома, я ее приглашу куда-нибудь потанцевать. Я ни разу с ней не танцевал за все наше знакомство. Это было четвертого июля в клубе. Тогда мы еще были мало знакомы и я не решился отбить ее у кавалера. Она была с отвратительным типом, с Элом Пайком, который учился в Чоуте. Я его тоже мало знал, только он вечно вертелся около бассейна. Он носил такие белые нейлоновые плавки и вечно прыгал с вышки. Целыми днями прыгал каким-то дурацким стилем. Больше он ничего не умел, но, видно, считал себя классным спортсменом. Сплошные мускулы — и никаких мозгов. Словом, Джейн в тот вечер танцевала с ним. Мне это было непонятно. Когда мы с ней подружились, я ее спросил, как она могла встречаться с таким заносчивым гадом, как этот Эл Пайк. Но Джейн сказала, что он вовсе не задается. Она сказала, что у него, наоборот, этот самый комплекс неполноценности. Вообще видно было, что ей его жаль, да она и не притворялась. Она всерьез его жалела. Странные люди эти девчонки. Каждый раз, когда упоминаешь какого-нибудь чистокровного гада — очень подлого или очень самовлюбленного, каждый раз, как про него заговоришь с девчонкой, она непременно скажет, что у него «комплекс неполноценности». Может быть, это и верно, но это не мешает ему быть

гадом. Да, девчонки. Никогда не поймешь, что им взбредет в голову. Один раз я познакомил подругу Роберты Уолш с одним моим приятелем. Его звали Боб Робинсон, вот у него по-настоящему был комплекс неполноценности. Сразу было видно, что он стеснялся своих родителей, потому что они говорили «хочут» и «хочете», и все в таком роде, а кроме того, они были довольно бедные. Но сам он был вовсе не из худших. Очень славный малый, но подруге Роберты Уолш он совершенно не понравился. Она сказала Роберте, что он задается, а решила она, что он задается, потому, что он случайно назвал себя капитаном команды дискуссионного клуба. Такая мелочь — и она уже решила, что он задается! Вся беда с девчонками в том, что, если им мальчик нравится, будь он хоть сто раз гадом, они непременно скажут, что у него комплекс неполноценности, а если им мальчик не нравится, будь он хоть самый славный малый на свете, с самым настоящим комплексом, они все равно скажут, что он задается. Даже с умными девчонками так бывает.

В общем, я опять позвонил старушке Джейн, но никто не подошел, и пришлось повесить трубку. Я стал просматривать свою записную книжку, искать, с кем бы мне провести вечер. К несчастью, у меня в книжке были записаны только три телефона: Джейн, мистера Антолини — он был моим учителем в Элктон-хилле — и потом служебный телефон отца. Вечно я забываю записывать телефоны. В конце концов пришлось позвонить одному типу, Карлу Льюсу. Он окончил Хуттонскую школу, когда я уже оттуда ушел. Он был старше меня года на три, и я его не особенно любил, но он был ужасно умный — у него был самый

высокий показатель умственного развития во всей школе, — и я подумал, может быть, он пообедает со мной и мы поговорим о чем-нибудь умном. Иногда он интересно рассказывал. Я решил ему звякнуть. Он уже учился в Колумбийском университете, но жил на Шестьдесят пятой улице, и я знал, что он дома. Когда я до него дозвонился, он сказал, что в обед занят, но может встретиться со мной в десять вечера в Викер-баре, на Пятьдесят четвертой. По-моему, он очень удивился, когда услышал мой голос. Один раз я его обозвал толстозадым ломакой.

До десяти часов надо было как-то убить время, и я пошел в кино в Радио-сити. Хуже нельзя было ничего придумать, но я был рядом и совершенно не знал, куда деваться.

Я вошел, когда начался дивертисмент. Труппа Рокетт выделывала бог знает что — знаете, как они танцуют, все в ряд, обхватив друг дружку за талию. Публика хлопала как бешеная, и какой-то тип за мной все время повторял: «Знаете, как это называется? Математическая точность!» Убил. А после труппы Рокетт выкатился на роликах человек во фраке и стал нырять под маленькие столики и при этом острить. Катался он здорово, но мне было скучновато, потому что я все время представлял себе, как он целыми днями тренируется, чтобы потом кататься по сцене на роликах. Глупое занятие. А после него началась рождественская пантомима, ее каждый год ставят в Радио-сити на Рождество. Вылезли всякие ангелы из ящиков, потом какие-то типы таскали на себе распятия по всей сцене, а потом они хором во все горло пели «Приидите, верующие!». Здорово запущено! Знаю, считается, что все это ужасно религиозно и

красиво, но где же тут религия и красота, черт меня дери, когда кучка актеров таскает распятия по сцене? А когда они кончили петь и стали расходиться по своим местам, видно было, что им не терпится уйти к чертям, покурить, передохнуть. В прошлом году я видел это представление с Салли Хейс, и она все восторгалась — ах, какая красота, ах, какие костюмы! А я сказал, что бедного Христа, наверно, стошнило бы, если б он посмотрел на эти маскарадные тряпки. Салли сказала, что я богохульник и атеист. Наверно, так оно и есть. А вот одна штука Христу, наверно, понравилась бы — это ударник из оркестра. Я его помню с тех пор, как мне было лет восемь. Когда родители водили сюда меня с братом, с Алли, мы всегда пересаживались к самому оркестру, чтобы смотреть на этого ударника. Лучше его я никого не видал. Правда, за весь номер ему всего раза два удавалось стукнуть по этой штуке, и все-таки у него никогда не было скуки на лице, пока он ждал. Но уж когда он наконец ударит, у него это выходит так хорошо, так чисто, даже по лицу видно, как он старается. Когда мы с отцом ездили в Вашингтон, Алли послал этому ударнику открытку, но, наверно, тот ее не получил. Мы толком не знали, как написать адрес.

Наконец рождественская пантомима окончилась и запустили этот треклятый фильм. Он был до того гнусный, что я глаз не мог отвести. Про одного англичанина, Алека, не помню, как дальше. Он был на войне и в госпитале потерял память. Выходит из госпиталя с палочкой, хромает по всему городу, по Лондону, и не знает, где он. На самом деле он герцог, но этого не помнит. Потом встречается с такой некрасивой, простой, честной девушкой, когда она лезет в

автобус. У нее слетает шляпка, он ее подхватывает, а потом они вдвоем забираются на верхотуру и начинают разговор про Чарльза Диккенса. Оказывается, это их любимый писатель. Он даже носит с собой «Оливера Твиста», и она тоже. Меня чуть не стошнило. В общем, они тут же влюбляются друг в друга, потому что оба помешаны на Чарльзе Диккенсе, и он ей помогает наладить работу в издательстве. Забыл сказать, эта девушка — издатель. Но у нее работа идет неважно, потому что брат у нее пьяница и все деньги пропивает. Он очень ожесточился, этот самый брат, потому что на войне он был хирургом, а теперь уже не может делать операции, нервы у него ни к черту, вот он и пьет как лошадь день и ночь, хотя, в общем, он довольно умный. Словом, Алек пишет книжку, а девушка ее издает, и они загребают кучу денег. Они совсем было собрались пожениться, но тут появляется другая девушка, некая Марсия. Эта Марсия была невестой Алека до того, как он потерял память, и она его узнает, когда он надписывает в магазине свою книжку любителям автографов. Марсия говорит бедняге Алеку, что он на самом деле герцог, но он ей не верит и не желает идти с ней в гости к своей матери. А мать у него слепая, как крот. Но та, другая девушка, некрасивая, заставляет его пойти. Она ужасно благородная, и все такое. Он идет, но все равно память к нему не возвращается, даже когда его огромный датский дог прыгает на него как сумасшедший, а мать хватает его руками за лицо и приносит ему плюшевого мишку, которого он обцеловывал в раннем детстве. Но в один прекрасный день ребята играли на лужайке в крикет и огрели этого Алека мячом по башке. Тут к нему сразу возвращается память, он бежит

домой и целует свою мать в лоб. Он опять становится настоящим герцогом и совершенно забывает ту простую девушку, у которой свое издательство. Я бы рассказал вам, как было дальше, но боюсь, что меня стошнит. Дело не в том, что я боюсь испортить вам впечатление, там и портить нечего. Словом, все кончается тем, что Алек женится на этой простой девушке, а ее брат, хирург, который пьет, приводит свои нервы в порядок и делает операцию мамаше Алека, чтобы она прозрела, и тут этот бывший пьяница и Марсия влюбляются друг в друга. А в последних кадрах показано, как все сидят за длиннющим столом и хохочут до колик, потому что датский дог вдруг притаскивает кучу щенков. Все думали, что он кобель, а оказывается, это сука. В общем, могу одно посоветовать: если не хотите, чтоб вас стошнило прямо на соседей, не ходите на этот фильм.

Но кого я никак не мог понять, так это даму, которая сидела рядом со мной и всю картину проплакала. И чем больше там было липы, тем она горше плакала. Можно было бы подумать, что она такая жалостливая, добрая, но я сидел рядом и видел, какая она добрая. С ней был маленький сынишка, ему было скучно до одури, и он все скулил, что хочет в уборную, а она его не вела. Все время говорила — сиди смирно, веди себя прилично. Волчица и та, наверно, добрее. Вообще, если взять десять человек из тех, кто смотрит липовую картину и ревет в три ручья, так поручиться можно, что из них девять окажутся в душе самыми прожженными сволочами. Я вам серьезно говорю.

Когда картина кончилась, я пошел к Викер-бару, где должен был встретиться с Карлом Льюсом, и, пока

шел, все думал про войну. Военные фильмы всегда наводят на такие мысли. Наверно, я не выдержал бы, если бы пришлось идти на войну. Вообще не страшно, если бы тебя просто отправили куда-нибудь и там убили, но ведь надо торчать в армии бог знает сколько времени. В этом все несчастье. Мой брат, Д. Б., четыре года как проклятый торчал в армии. Он и на войне был, участвовал во втором фронте, и все такое — но, по-моему, он ненавидел армейскую службу больше, чем войну. Я был еще совсем маленький, но помню, когда он приезжал домой в отпуск, он все время лежал у себя на кровати. Он даже в гостиную выходил редко. Потом он попал в Европу, на войну, но не был ранен, и ему даже не пришлось ни в кого стрелять. Целыми днями он только и делал, что возил какого-то ковбойского генерала в штабной машине. Он как-то сказал нам с Алли, что, если б ему пришлось стрелять, он не знал бы, в кого пустить пулю. Он сказал, что в армии полно сволочей, не хуже, чем у фашистов. Помню, как Алли его спросил — может быть, ему полезно было побывать на войне, потому что он писатель и теперь ему есть о чем писать. А он заставил Алли принести ему бейсбольную рукавицу со стихами и потом спросил: кто лучше писал про войну — Руперт Брук или Эмили Дикинсон? Алли говорит — Эмили Дикинсон. Я про это ничего сказать не могу — стихов я почти не читаю, но я твердо знаю одно: я бы наверняка спятил, если б мне пришлось служить в армии с типами вроде Экли, Стрэдлейтера и того лифтера, Мориса, маршировать с ними, жить вместе. Как-то я целую неделю был бойскаутом, и меня уже мутило, когда я смотрел в затылок переднему мальчишке. А нас все время заставляли смотреть в затылок переднему. Чест-

ное слово, если будет война, пусть меня лучше сразу выведут и расстреляют. Я и сопротивляться бы не стал. Но одно меня возмущает в моем старшем брате: ненавидит войну, а сам прошлым летом дал мне прочесть эту книжку — «Прощай, оружие!». Сказал, что книжка потрясающая. Вот чего я никак не понимаю. Там этот герой, этот лейтенант Генри. Считается, что он славный малый. Не понимаю, как это Д. Б. ненавидит войну, ненавидит армию и все-таки восхищается этим ломакой. Не могу я понять, почему ему нравится такая липа и в то же время нравится и Ринг Ларднер, и «Великий Гэтсби». Он на меня обиделся, Д. Б., когда я ему это сказал, заявил, что я еще слишком мал, чтобы оценить «Прощай, оружие!», но, по-моему, это неверно. Я ему говорю — нравится же мне Ринг Ларднер и «Великий Гэтсби». Особенно «Великий Гэтсби». Да, Гэтсби. Вот это человек. Сила!

В общем, я рад, что изобрели атомную бомбу. Если когда-нибудь начнется война, я усядусь прямо на эту бомбу. Добровольно сяду, честное благородное слово!

## 19

Может быть, вы не жили в Нью-Йорке и не знаете, что Викер-бар находится в очень шикарной гостинице — «Сетон-отель». Раньше я там бывал довольно часто, но потом перестал. Совсем туда не хожу. Считается, что это ужасно изысканный бар, и все пижоны туда так и лезут. А три раза за вечер там выступали эти француженки, Тина и Жанин, играли на рояле и пели. Одна играла на рояле совершенно мерзко, а другая пела песни либо непристойные, либо француз-

скис. Та, которая пела, Жанин, сначала выйдет к микрофону и прошепелявит, прежде чем запоет. Скажет: «А теперь ми вам спойёмь маленки песенка «Вуле ву Франсэ». Этот песенка про ма-а-аленки франсуски дэвюшка, котори приехаль в ошен болшой город, как Нуу-Йорк, и влюблял в ма-аленки малшику из Бруклин. Ми увэрен, что вам ошен понравиль!» Посюсюкает, пошепелявит, а потом споет дурацкую песню наполовину по-английски, наполовину по-французски, а все пижоны начинают с ума сходить от восторга. Посидели бы вы там подольше, послушали бы, как эти подонки аплодируют, вы бы весь свет возненавидели, клянусь честью. А сам хозяин бара тоже скотина. Ужасающий сноб. Он с вами ни слова не скажет, если вы не какая-нибудь важная шишка или знаменитость. А уж если ты знаменитость, тут он в лепешку расшибется, смотреть тошно. Подойдет, улыбнется этак широко, простодушно — смотрите, какой я чудный малый! — спросит: «Ну, как там у вас, в Коннектикуте?», или: «Ну, как там у вас, во Флориде?» Гнусный бар, кроме шуток. Я туда почти что совсем перестал ходить.

Было еще довольно рано, когда я туда добрался. Я сел у стойки — народу было много — и выпил виски с содовой, не дождавшись Льюса. Я встал с табуретки, когда заказывал: пусть видят, какой я высокий, и не принимают меня за несовершеннолетнего. Потом я стал рассматривать всех пижонов. Тот, что сидел рядом со мной, по-всякому обхаживал свою девицу. Все уверял, что у нее аристократические руки. Меня смех разбирал. А в другом конце бара собрались психи. Вид у них, правда, был не слишком психоватый — ни длинных волос, ничего такого, но сразу можно

было сказать, кто они такие. И наконец явился сам Льюс.

Льюс — это тип. Таких поискать. Когда мы учились в Хуттонской школе, он считался моим репетитором-старшеклассником. Но он только и делал, что вел всякие разговоры про секс поздно ночью, когда у него в комнате собирались ребята. Он здорово знал про всякое такое, особенно про всяких психов. Вечно он нам рассказывал про каких-то извращенцев, которые гоняются за овцами или зашивают в подкладку шляп женские трусики. Этот Льюс наизусть знал, кто педераст, а кто лесбиянка, чуть ли не по всей Америке. Назовешь какую-нибудь фамилию, чью угодно, и Льюс тут же тебе скажет, педераст он или нет. Просто иногда трудно поверить, что все эти люди — киноактеры и прочее — либо педерасты, либо лесбиянки. А ведь многие из них были женаты. Черт его знает, откуда он это выдумал. Сто раз его переспросишь: «Да неужели Джо Блоу тоже из этих! Джо Блоу, такая громадина, такой силач, тот, который всегда играет гангстеров и ковбоев, неужели и он?» И Льюс отвечал: «Безусловно!» Он всегда говорил: «Безусловно!» Он говорил, что никакого значения не имеет, женат человек или нет. Говорил, что половина женатых людей — извращенцы и сами этого не подозревают. Говорил — каждый может вдруг стать таким, если есть задатки. Пугал нас до полусмерти. Я иногда ночь не спал, все боялся — вдруг я тоже стану психом? Но самое смешное, что, по-моему, сам Льюс был не совсем нормальный. Вечно он трепался бог знает о чем, а в коридоре жал из тебя масло, пока ты не задохнешься. И всегда оставлял двери из уборной в умывалку открытыми, ты чистишь зубы или умываешься, а он с тобой оттуда раз-

говаривает. По-моему, это тоже какое-то извращение, ей-богу. В школах я часто встречал настоящих психов, и вечно они выкидывали такие фокусы. Потому я и подозревал, что Льюс сам такой. Но он ужасно умный, кроме шуток.

Он никогда не здоровается, не говорит «привет». И сейчас он сразу заявил, что пришел на одну минутку. Сказал, что у него свидание. Потом велел подать себе сухой мартини. Сказал, чтобы бармен поменьше разбавлял и не клал маслину.

— Слушай, я для тебя присмотрел хорошего психа, — говорю. — Вон, в конце стойки. Ты пока не смотри. Я его приметил для тебя.

— Как остроумно! — говорит. — Все тот же прежний Колфилд. Когда же ты вырастешь?

Видно было, что я его раздражаю. А мне стало смешно. Такие типы меня всегда смешат.

— Ну, как твоя личная жизнь? — спрашиваю. Он ненавидел, когда его об этом спрашивали.

— Перестань, — говорит он, — ради бога, сядь спокойно и перестань трепаться.

— А я сижу спокойно, — говорю. — Как Колумбия? Нравится тебе там?

— Безусловно. Очень нравится. Если бы не нравилось, я бы туда не пошел, — говорит. Он тоже иногда раздражал меня.

— А какую специальность ты выбрал? — спрашиваю. — Изучаешь всякие извращения? — Мне хотелось подшутить над ним.

— Ты, кажется, пытаешься острить? — говорит он.

— Да нет, я просто так, — говорю. — Слушай, Льюс, ты очень умный малый, образованный. Мне нужен твой совет. Я попал в ужасное...

Он громко застонал:

— Ох, Колфилд, перестань! Неужто ты не можешь посидеть спокойно, поговорить...

— Ладно, ладно, — говорю. — Не волнуйся!

Видно было, что ему нс хочется вести со мной серьезный разговор. Беда с этими умниками. Никогда не могут серьезно поговорить с человеком, если у них нет настроения. Пришлось завести с ним разговор на общие темы.

— Нет, я серьезно спрашиваю, как твоя личная жизнь? По-прежнему водишься с той же куклой, помнишь, ты с ней водился в Хуттоне? У нее еще такой огромный...

— О господи, разумеется, нет!

— Как же так? Где она теперь?

— Ни малейшего представления. Если хочешь знать, она, по-моему, стала чем-то вроде нью-гемпширской блудницы.

— Это свинство! Если она тебе столько позволяла, так ты по крайней мере не должен говорить про нее гадости!

— О черт! — сказал Льюс. — Неужели начнется типичный колфилдовский разговор? Ты бы хоть предупредил меня.

— Ничего не начнется, — сказал я, — и все-таки это свинство. Если она так хорошо относилась к тебе, что позволяла...

— Неужто надо продолжать эти невыносимые тирады?

Я ничего не сказал. Испугался, что, если я не замолчу, он встанет и уйдет. Пришлось заказать еще одну порцию виски. Мне вдруг до чертиков захотелось напиться.

— С кем же ты сейчас водишься? — спрашиваю. — Можешь мне рассказать? Если хочешь, конечно!

— Ты ее не знаешь.

— А вдруг знаю? Кто она?

— Одна особа из Гринвич-Виллидж. Скульпторша, если уж непременно хочешь знать.

— Ну? Серьезно? А сколько ей лет?

— Бог мой, да разве я ее спрашивал!

— Ну, приблизительно сколько?

— Да, наверно, лет за тридцать, — говорит Льюс.

— За тридцать? Да? И тебе это нравится? — спрашиваю. — Тебе нравятся такие старые? — Я его расспрашивал главным образом потому, что он действительно разбирался в этих делах. Немногие так разбирались, как он. Он потерял невинность в четырнадцать лет, в Нантакете, честное слово!

— Ты хочешь знать, нравятся ли мне зрелые женщины? Безусловно!

— Вот как? Почему? Нет, правда, разве с ними лучше?

— Слушай, я тебе еще раз повторяю: прекрати эти колфилдовские расспросы хотя бы на сегодняшний вечер. Я отказываюсь отвечать. Когда же ты наконец станешь взрослым, черт побери?

Я ничего не ответил. Решил помолчать минутку. Потом Льюс заказал еще мартини и велел совсем не разбавлять.

— Слушай, все-таки скажи, ты с ней давно живешь, с этой скульпторшей? — Мне и на самом деле было интересно. — Ты был с ней знаком в Хуттонской школе?

— Нет. Она недавно приехала в Штаты, несколько месяцев назад.

— Да? Откуда же она?

— Представь себе — из Шанхая.

— Не ври! Китаянка, что ли?

— Безусловно!

— Врешь! И тебе это нравится? То, что она китаянка?

— Безусловно, нравится.

— Но почему? Честное слово, мне интересно знать — почему?

— Просто меня восточная философия больше удовлетворяет, чем западная, если тебе непременно надо знать.

— Какая философия? Сексуальная? Что, разве у них в Китае это лучше? Ты про это?

— Да я не про Китай. Я вообще про Восток. Бог мой! Неужели надо продолжать этот бессмысленный разговор?

— Слушай, я тебя серьезно спрашиваю, — говорю я. — Я не шучу. Почему на Востоке все это лучше?

— Слишком сложно объяснять, понимаешь? — говорит Льюс. — Просто они считают, что любовь — это общение не только физическое, но и духовное. Да зачем я тебе стану...

— Но я тоже так считаю! Я тоже считаю, что это — как ты сказал? — и духовное, и физическое. Честное слово, я тоже так считаю. Но все зависит от того, с кем у тебя любовь. Если с кем-нибудь, кого ты вовсе...

— Да не ори ты так, ради бога! Если не можешь говорить тихо, давай прекратим этот...

— Хорошо, хорошо, только ты выслушай! — говорю. Я немножко волновался и действительно говорил слишком громко. Бывает, что я очень громко говорю, когда волнуюсь. — Понимаешь, что я хочу сказать: я

знаю, что общение должно быть и физическое, и духовное, и красивое, — словом, всякое такое. Но ты пойми, не может так быть с каждой — со всеми девчонками, с которыми целуешься, — не может! А у тебя может?

— Давай прекратим этот разговор, — говорит Льюс. — Не возражаешь?

— Ладно, но ты все-таки выслушай! Возьмем тебя и эту китаянку. Что у вас с ней особенно хорошего?

— Я сказал — прекрати!

Конечно, не надо было так вмешиваться в его личную жизнь. Я это понимаю. Но у Льюса была одна ужасно неприятная черта. Когда мы учились в Хуттоне, он заставлял меня описывать самые тайные мои переживания, а как только спросишь его самого, он злится. Не любят эти умники вести умный разговор, они только сами любят разглагольствовать. Считают, что если он замолчал, так ты тоже молчи, если он ушел в свою комнату, так и ты уходи. Когда я учился в Хуттоне, Льюс просто ненавидел, если мы начинали сами разговаривать после того, как он нам рассказывал всякие вещи. Даже если мы собирались в другой комнате, я и мои товарищи, Льюс просто не выносил этого. Он всегда требовал, чтобы все разошлись по своим комнатам и сидели там, раз он перестал разглагольствовать. Все дело было в том, что он боялся — вдруг кто-нибудь скажет что-либо умнее, чем он. Все-таки он уморительный тип.

— Наверно, придется ехать в Китай, — говорю. — Моя личная жизнь ни к черту не годится.

— Это естественно. У тебя незрелый ум.

— Верно. Это очень верно, сам знаю, — говорю. — Но понимаешь, в чем беда? Не могу я испытать насто-

ящее возбуждение — понимаешь, настоящее, — если девушка мне не нравится. Понимаешь, она должна мне нравиться. А если не нравится, так я ее и не хочу, понимаешь? Господи, вся моя личная жизнь из-за этого идет псу под хвост. Дерьмо, а не жизнь!

— Ну конечно, черт возьми! Я тебе уже в прошлый раз говорил, что тебе надо сделать.

— Пойти к психоаналитику, да? — сказал я. В прошлый раз он мне это советовал. Отец у него психоаналитик.

— Да это твое дело, бог мой! Мне-то какая забота, что ты с собой сделаешь?

Я ничего не сказал. Я думал.

— Хорошо, предположим, я пойду к твоему отцу и попрошу его пропсихоанализировать меня, — сказал я. — А что он со мной будет делать? Скажи, что он со мной сделает?

— Да ни черта он с тобой не сделает. Просто поговорит, и ты с ним поговоришь. Что ты, не понимаешь, что ли? Главное, он тебе поможет разобраться в строе твоих мыслей.

— В чем, в чем?

— В строе твоих мыслей. Ты запутался в сложностях... О черт! Что я, курс психоанализа должен тебе читать, что ли? Если угодно, запишись к отцу на прием, не угодно — не записывайся! Откровенно говоря, мне это глубоко безразлично.

Я положил руку ему на плечо. Мне стало очень смешно.

— А ты настоящий друг, сукин ты сын! — говорю. — Ты это знаешь?

Он посмотрел на часы.

— Надо бежать! — говорит он и встает. — Рад был повидать тебя. — Он позвал бармена и велел подать счет.

— Слушай-ка! — говорю. — А твой отец тебя психоанализировал?

— Меня? А почему ты спрашиваешь?

— Просто так. Психоанализировал или нет?

— Как сказать. Не совсем. Просто он помог мне приспособиться к жизни, но глубокий анализ не понадобился. А почему ты спрашиваешь?

— Просто так. Интересно.

— Ну, прощай! Счастливо! — сказал он. Он положил чаевые и собрался уходить.

— Выпей со мной еще! — говорю. — Прошу тебя. Меня тоска заела. Серьезно, останься!

Он сказал, что не может. Сказал, что и так опаздывает, и ушел.

Да, Льюс — это тип. Конечно, он зануда, но запас слов у него гигантский. Из всех учеников нашей школы у него оказался самый большой запас слов. Нам устраивали специальные тесты.

## 20

Я сидел и пил без конца, а сам ждал, когда же наконец выйдут Тина и Жанин со своими штучками, но их, оказывается, уже не было. Какой-то женоподобный тип с завитыми волосами стал играть на рояле, а потом новая красотка, Валенсия, вышла и запела. Ничего хорошего в ней не было, но, во всяком случае, она была лучше, чем Тина с Жанин, — по крайней мере она хоть песни пела хорошие. Рояль

был у самой стойки, где я сидел, и эта самая Валенсия стояла почти что около меня. Я ей немножко подмигнул, но она сделала вид, что даже не замечает меня. Наверно, я не стал бы ей подмигивать, но я уже был пьян как сапожник. Она допела и так быстро смылась, что я не успел пригласить ее выпить со мной. Я позвал метрдотеля и велел ему спросить старушку Валенсию, не хочет ли она выпить со мной. Он сказал, что спросит непременно, но, наверно, даже не передал мою просьбу. Никто никогда не передает, если просишь.

Просидел я в этом проклятом баре чуть ли не до часу ночи, напился там как сукин сын. Совершенно окосел. Но одно я твердо помнил — нельзя шуметь, нельзя скандалить. Не хотелось, чтобы на меня обратили внимание, да еще спросили бы, чего доброго, сколько мне лет. Но до чего я окосел — ужас! А когда я окончательно напился, я опять стал выдумывать эту дурацкую историю, будто у меня в кишках сидит пуля. Я сидел один в баре, с пулей в животе. Все время я держал руку под курткой, чтобы кровь не капала на пол. Я не хотел подавать виду, что я ранен. Скрывал, что меня, дурака, ранили. И тут опять ужасно захотелось звякнуть Джейн по телефону, узнать, вернулась она наконец домой или нет. Я расплатился и пошел к автоматам. Иду, а сам прижимаю руку к ране, чтобы кровь не капала. Вот до чего я напился!

Но когда я очутился в телефонной будке, у меня прошло настроение звонить Джейн. Наверно, я был слишком пьян. Вместо этого я позвонил Салли.

Я накрутил, наверно, номеров двадцать, пока не набрал правильно. Фу, до чего я был пьян!

— Алло! — крикнул я, когда кто-то подошел к этому треклятому телефону. Даже не крикнул, а заорал, до того я был пьян.

— Кто говорит? — спрашивает ледяной женский голос.

— Это я. Холден Колфилд. Пжалста, пзовите Салли...

— Салли уже спит. Говорит ее бабушка. Почему вы звоните так поздно, Холден? Вы знаете, который час?

— Знаю! Мне надо поговорить с Салли. Очень важно. Дайте ее сюда!

— Салли спит, молодой человек. Позвоните завтра. Спокойной ночи!

— Разбудите ее! Эй, разбудите ее! Слышите?

И вдруг заговорил другой голос:

— Холден, это я. — Оказывается, Салли. — Это еще что за выдумки?

— Салли? Это ты?

— Да-да! Не ори, пожалуйста! Ты пьян?

— Ага! Слушай! Слушай, эй! Я приду в сочельник, ладно? Уберу с тобой эту чертову елку. Идет? Эй, Салли, идет?

— Да. Ты ужасно пьян. Иди спать. Где ты? С кем ты?

— Салли? Я приду убирать елку, ладно? Слышишь? Ладно? А?

— Да-да. А теперь иди спать. Где ты? Кто с тобой?

— Никого. Я, моя персона и я сам. — Ох, до чего я был пьян! Стою и держусь за живот. — Меня подстрелили! Банда Рокки меня прикончила. Слышишь, Салли? Салли, ты меня слышишь?

— Я ничего не понимаю. Иди спать. Мне тоже надо спать. Позвони завтра.

— Слушай, Салли! Хочешь, я приду убирать елку? Хочешь? А?

— Да-да! Спокойной ночи!

И повесила трубку.

— Спокойной ночи. Спокойной ночи, Салли, миленькая! Солнышко мое, девочка моя милая! — говорю. Представляете себе, до чего я был пьян?

Потом и я повесил трубку. И подумал, что она, наверно, только что вернулась из гостей. Вдруг вообразил, что она где-то веселится с этими Лантами и с этим пшютом из Эндовера. Будто все они плавают в огромном чайнике и разговаривают такими нарочно изысканными голосами, кокетничают напоказ, выламываются. Я уже проклинал себя, что звонил ей. Но когда я напьюсь, я как ненормальный.

Простоял я в этой треклятой будке довольно долго. Вцепился в телефон, чтобы не потерять сознание. Чувствовал я себя, по правде сказать, довольно мерзко. Наконец я все-таки выбрался из будки, пошел в мужскую уборную, шатаясь, как идиот, там налил в умывальник холодной воды и опустил голову до самых ушей. А потом и вытирать не стал. Пускай, думаю, с нее каплет к чертям собачьим. Потом подошел к радиатору у окна и сел на него. Он был такой теплый, уютный. Приятно было сидеть, потому что я дрожал, как щенок. Смешная штука, но стоит мне напиться, как меня трясет лихорадка.

Делать было нечего, я сидел на радиаторе и считал белые плитки на полу. Я страшно промок. Вода с головы лилась за шиворот, весь галстук промок, весь воротник, но мне было наплевать. Тут вошел этот малый, который аккомпанировал Валенсии, этот женоподобный фертик с завитыми волосами, и стал при-

глаживать свои златые кудри. Мы с ним разговорились, пока он причесывался, хотя он был со мной не особенно приветлив.

— Слушайте, вы увидите эту самую Валенсию, когда вернетесь в зал? — спрашиваю.

— Это не лишено вероятности! — отвечает. Острит, болван. Везет мне на остроумных болванов.

— Слушайте, передайте ей от меня привет. Спросите, передал ей этот подлый метрдотель привет от меня, ладно?

— Почему ты не идешь домой, Мак? Сколько тебе, в сущности, лет?

— Восемьдесят шесть. Слушайте, передайте ей от меня приветик. Передадите?

— Почему не идешь домой, Мак?

— Не пойду! Ох, и здорово вы играете на рояле, черт возьми!

Я ему нарочно льстил. По правде говоря, играл он на рояле мерзко.

— Вам бы выступать на радио, — говорю. — Вы же красавец. Златые кудри, и все такое. Вам нужен импресарио, а?

— Иди домой, Мак. Будь умницей, иди домой и ложись спать.

— Нет у меня никакого дома. Кроме шуток — нужен вам импресарио?

Он даже не ответил. Вышел, и все. Расчесал свои кудри, прилизал их и ушел. Вылитый Стрэдлейтер. Все эти смазливые ублюдки одинаковы. Причешутся, прилижутся и бросают тебя одного.

Когда я наконец встал с радиатора и пошел в гардеробную, я разревелся. Без всякой причины — шел и ревел. Наверно, оттого, что мне было очень уж оди-

ноко и грустно. А когда я подошел к гардеробу, я не мог найти свой номер. Но гардеробщица оказалась очень славной. Отдала пальто без номера. И пластинку «Крошка Ширли Бинз», я ее так и носил с собой. Хотел дать гардеробщице доллар за то, что она такая славная, но она не взяла. Все уговаривала, чтобы я шел домой и лег спать. Я попытался было назначить ей свидание, но она не захотела. Сказала, что годится мне в матери. А я показываю свои седые волосы и говорю, что мне уже сорок четыре года — в шутку, конечно. Она была очень хорошая. Ей даже понравилась моя дурацкая охотничья шапка. Велела мне надеть ее, потому что у меня волосы были совсем мокрые. Славная женщина.

На воздухе с меня слетел весь хмель. Стоял жуткий холод, и у меня зуб на зуб не попадал. Весь дрожу, никак не могу удержаться. Я пошел к Мэдисонавеню и стал ждать автобуса; денег у меня почти что совсем не оставалось, и нельзя было тратить на такси. Но ужасно не хотелось лезть в автобус. А кроме того, я и сам не знал, куда мне ехать. Я взял и пошел в парк. Подумал, не пойти ли мне мимо того прудика, посмотреть, где эти чертовы утки, там они или нет. Я так и не знал — там они или их нет. Парк был недалеко, а идти мне все равно было некуда — я даже не знал, где я буду ночевать, — я и пошел туда. Усталости я не чувствовал, вообще ничего не чувствовал, кроме жуткой тоски.

И вдруг, только я зашел в парк, случилась страшная вещь. Я уронил сестренкину пластинку. Разбилась на тысячу кусков. Как была в большом конверте, так и разбилась. Я чуть не разревелся, до того мне стало жалко, но я только вынул осколки из конверта

и сунул в карман. Толку от них никакого не было, но выбрасывать не хотелось. Я пошел по парку. Темень там стояла жуткая.

Всю жизнь я прожил в Нью-Йорке и знаю Центральный парк как свои пять пальцев — с самого детства я там и на роликах катался, и на велосипеде, — и все-таки я никак не мог найти этот самый прудик. Я отлично знал, что он у Южного выхода, а найти не мог. Наверно, я был пьянее, чем казалось. Я шел и шел, становилось все темнее и темнее, все страшней и страшней. Ни одного человека не встретил — и слава богу, наверно, я бы подскочил от страха, если б кто-нибудь попался навстречу. Наконец пруд отыскался. Он наполовину замерз, а наполовину нет. Но никаких уток там не было. Я обошел весь пруд, раз я даже чуть в него не упал, но ни одной-единственной утки не видел. Я подумал было, что они, может быть, спят на берегу, в кустах, если они вообще тут есть. Вот тут я чуть и не свалился в воду, но никаких уток не нашел.

Наконец я сел на скамейку, где было не так темно. Трясло меня как проклятого, а волосы на затылке превратились в мелкие сосульки, хотя на мне была охотничья шапка. Я испугался. А вдруг у меня начнется воспаление легких и я умру? Я представил себе, как миллион притворщиков явится на мои похороны. И дед приедет из Детройта — он всегда выкрикивает названия улиц, когда с ним едешь в автобусе, — и тетки сбегутся — у меня одних теток штук пятьдесят, — и все эти мои двоюродные подонки. Толпища, ничего не скажешь. Они все прискакали, когда Алли умер, вся их свора. Мне Д. Б. рассказывал, что одна дура тетка — у нее вечно изо рта пахнет — все умиля-

лась, какой он лежит безмятежный. Меня там не было, я лежал в больнице. Пришлось лечиться — я очень порезал руку.

А теперь я вдруг стал думать, как я заболею воспалением легких — волосы у меня совершенно обледенели — и как я умру. Мне было жалко родителей. Особенно маму, она все еще не пришла в себя после смерти Алли. Я себе представил, как она стоит и не знает, куда девать мои костюмы и мой спортивный инвентарь. Одно меня утешало — сестренку на мои дурацкие похороны не пустят, потому что она еще маленькая. Единственное утешение. Но тут я представил себе, как вся эта гоп-компания зарывает меня на кладбище, кладет на меня камень с моей фамилией, и все такое. А кругом — одни мертвецы. Да, стоит только умереть, они тебя сразу же упрячут! Одна надежда, что, когда я умру, найдется умный человек и вышвырнет мое тело в реку, что ли. Куда угодно — только не на это треклятое кладбище. Еще будут приходить по воскресеньям, класть тебе цветы на живот. Вот тоже чушь собачья! На кой черт мертвецу цветы? Кому они нужны?

В хорошую погоду мои родители часто ходят на кладбище, кладут нашему Алли цветы на могилу. Я с ними раза два ходил, а потом перестал. Во-первых, не очень-то весело видеть его на этом гнусном кладбище. Лежит, а вокруг одни мертвецы и памятники. Когда солнце светит, это еще ничего, но два раза, — да, два раза подряд! — когда мы там были, вдруг начинался дождь. Это было нестерпимо. Дождь шел прямо на чертово надгробье, прямо на траву, которая растет у него на животе. Лило как из ведра. И все посетители кладбища вдруг помчались как сумасшед-

шие к своим машинам. Вот что меня взорвало. Они-то могут сесть в машины, включить радио и поехать в какой-нибудь хороший ресторан обедать — все могут, кроме Алли. Невыносимое свинство. Знаю, там, на кладбище, только его тело, а его душа на небе, и всякая такая чушь, но все равно мне было невыносимо. Так хотелось, чтобы его там не было. Вот вы его не знали, а если бы знали, вы бы меня поняли. Когда солнце светит, еще не так плохо, но солнце-то светит, только когда ему вздумается.

И вдруг, чтобы не думать про воспаление легких, я вытащил свои деньги и стал их пересчитывать, хотя от уличного фонаря света почти не было. У меня осталось всего три доллара: я целое состояние промотал с отъезда из Пэнси. Тогда я подошел к пруду и стал пускать монетки по воде, там, где не замерзло. Не знаю, зачем я это делал, наверно, чтобы отвлечься от всяких мыслей про воспаление легких и смерть. Но не отвлекся.

Опять я стал думать, что будет с Фиби, когда я заболею воспалением легких и умру. Конечно, ребячество об этом думать, но я уже не мог остановиться. Наверно, она очень расстроится, если я умру. Она ко мне хорошо относится. По правде говоря, она меня любит по-настоящему. Я никак не мог выбросить из головы эти дурацкие мысли и наконец решил сделать вот что: пойти домой и повидать ее на случай, если я и вправду заболею и умру. Ключ от квартиры у меня был с собой, и я решил сделать так: проберусь потихоньку в нашу квартиру и перекинусь с Фиби хоть словечком. Одно меня беспокоило — наша парадная дверь скрипит как оголтелая. Дом у нас довольно старый, хозяйский управляющий ленив как дьявол, во всех квартирах двери скрипят и пищат. Я боялся: вдруг

мои родители услышат, что я пришел. Но все-таки решил попробовать.

Я тут же выскочил из парка и пошел домой. Всю дорогу шел пешком. Жили мы не очень далеко, а я совсем не устал, и хмель прошел. Только холод стоял жуткий, и кругом — ни души.

## 21

Мне давно так не везло: когда я пришел домой, наш постоянный ночной лифтер, Пит, не дежурил. У лифта стоял какой-то новый, совсем незнакомый, и я сообразил, что, если сразу не напорюсь на кого-нибудь из родителей, я смогу повидаться с сестренкой, а потом удрать, и никто не узнает, что я приходил. Повезло, ничего не скажешь. А к тому же этот новый был какой-то придурковатый. Я ему небрежно бросил, что мне надо к Дикстайнам. А Дикстайны жили на нашем этаже. Охотничью шапку я уже снял, чтобы вид был не слишком подозрительный, и вскочил в лифт, как будто мне очень к спеху.

Он уже закрыл дверцы и хотел было нажать кнопку, но вдруг обернулся и говорит:

— А их дома нет. Они в гостях на четырнадцатом этаже.

— Ничего, — говорю, — мне велено подождать. Я их племянник.

Он посмотрел на меня тупо и подозрительно.

— Так подождите лучше внизу, в холле, молодой человек!

— Я бы с удовольствием! Конечно, это было бы лучше, — говорю, — но у меня нога больная, ее надо

держать в определенном положении. Лучше я посижу в кресле у их дверей.

Он даже не понял, о чем я, только сказал: «Ну-ну!» — и поднял меня наверх. Неплохо вышло. Забавная штука: достаточно наплести человеку что-нибудь непонятное, и он сделает так, как ты хочешь.

Я вышел на нашем этаже — хромал я, как собака, — и пошел к дверям Дикстайнов. А когда хлопнула дверца лифта, я повернул к нашим дверям. Все шло отлично. Хмель как рукой сняло. Я достал ключ и отпер входную дверь тихо, как мышь. Потом очень-очень осторожно прикрыл двери и вошел в прихожую. Вот какой гангстер во мне пропадает!

В прихожей было темно, как в аду, а свет, сами понимаете, я включить не мог. Нужно было двигаться очень осторожно, не натыкаться на вещи, чтобы не поднять шум. Но я чувствовал, что я дома. В нашей передней свой, особенный запах, нигде так не пахнет. Сам не знаю чем — не то едой, не то духами, — не разобрать, но сразу чувствуешь, что ты дома. Сначала я хотел снять пальто и повесить в шкаф, но там было полно вешалок, они гремят как сумасшедшие, когда открываешь дверцы, я и остался в пальто. Потом тихо-тихо, на цыпочках, пошел к Фибиной комнате. Я знал, что наша горничная меня не услышит, потому что у нее была только одна барабанная перепонка: ее брат проткнул ей соломинкой ухо еще в детстве, она мне сама рассказывала. Она совсем ничего не слышала. Но зато у моих родителей, вернее, у мамы, слух, как у хорошей ищейки. Я даже пробирался мимо их спальни как можно осторожнее. Я даже старался не дышать. Отец еще ничего — его хоть креслом стукнуть по голове, он все равно не проснется, а

вот мама — тут только кашляни где-нибудь в Сибири, она все равно услышит. Нервная она как не знаю кто. Вечно по ночам не спит, курит без конца.

Я чуть ли не целый час пробирался к Фибиной комнате. Но ее там не оказалось. Совершенно забыл, из памяти вылетело, что она спит в кабинете Д. Б., когда он уезжает в Голливуд или еще куда-нибудь. Она любит спать в его комнате, потому что это самая большая комната в нашей квартире. И еще потому, что там стоит этот огромный старый стол сумасшедшей величины, Д. Б. купил его у какой-то алкоголички в Филадельфии. И кровать там тоже гигантская — миль десять в ширину, десять — в длину. Не знаю, где он откопал такую кровать. Словом, Фиби любит спать в комнате Д. Б., когда его нет, да он и не возражает. Вы бы посмотрели, как она делает уроки за этим дурацким столом — он тоже величиной с кровать. Фиби почти не видно, когда она за ним делает уроки. А ей это нравится. Она говорит, что свою комнатку не любит за то, что там тесно. Говорит, что любит «распространяться». Просто смех — куда ей там распространяться, дурочке?

Я потихоньку пробрался в комнату Д. Б. и зажег лампу на письменном столе. Моя Фиби даже не проснулась. Я долго смотрел на нее при свете. Она крепко спала, подвернув уголок подушки. И рот приоткрыла. Странная штука: если взрослые спят открыв рот, у них вид противный, а у ребятишек — нисколько. С ребятишками все по-другому. Даже если у них слюнки текут во сне — и то на них смотреть не противно.

Я ходил по комнате очень тихо, посмотрел, что и как. Настроение у меня вдруг стало совсем хорошее.

Я даже не думал, что заболею воспалением легких. Просто мне стало совсем весело. На стуле около кровати лежало платье Фиби. Она очень аккуратная для своих лет. Понимаете, она никогда не разбрасывает всщи куда попало, как другие рсбята. Никакого неряшества. На спинке стула висела светло-коричневая жакетка от костюма, который мама ей купила в Канаде. Блузка и все прочее лежало на сиденье, а туфли, со свернутыми носками внутри, стояли рядышком под стулом. Я эти туфли еще не видел, они были новые. Темно-коричневые, мягкие, у меня тоже есть такие. Они очень шли к костюму, который мама ей купила в Канаде. Мама ее хорошо одевает, очень хорошо. Вкус у моей мамы потрясающий — не во всем, конечно. Коньки, например, она покупать не умеет, но зато в остальном у нее вкус безукоризненный. На Фиби всегда такие платьица — умереть можно! А возьмите других малышей, на них всегда какая-то жуткая одежда, даже если их родители вполне состоятельные. Вы бы посмотрели на нашу Фиби в костюме, который мама купила ей в Канаде! Приятно смотреть, ей-богу.

Я сел за письменный стол брата и посмотрел, что на нем лежит. Фиби разложила там свои тстрадки и учсбники. Много учебников. Наверху лежала книжка под названием «Занимательная арифметика». Я ее открыл и увидел на псрвой странице надпись:

*Фиби Уэзерфилд Колфилд*
*4Б-1*

Я чуть не расхохотался. Ее второе имя Джозефина, а вовсе не Уэзерфилд! Но ей это имя не нравится. И она каждый раз придумываст себе новое второе имя.

Под арифметикой лежала география, а под географией — учебник правописания. Она отлично пишет. Вообще она очень хорошо учится, но пишет она лучше всего. Под правописанием лежала целая куча блокнотов — у нее их тысяч пять, если не больше. Никогда я не видел, чтоб у такой малышки было столько блокнотов. Я раскрыл верхний блокнот и прочел запись на первой странице:

*Бернис жди меня в переменку надо сказать ужасно важную вещь.*

На этой странице больше ничего не было. Я перевернул страничку, и на ней было вот что:

*Почему в юговосточной аляске столько консервенных заводов?*

*Потому что там много семги.*

*Почему там ценная дривисина?*

*Потому что там подходящий климат.*

*Что сделало наше правительство чтобы облегчить жизнь аляскинским эскимосам?*

*Выучить на завтра.*

*Фиби Уэзерфилд Колфилд.*

*Фиби У. Колфилд.*

*Г-жа Фиби Уэзерфилд Колфилд.*

*Передай Ширли!!!!*

*Ширли ты говоришь твоя планета сатурн, но это всего-навсего марс принеси коньки когда зайдешь за мной.*

Я сидел за письменным столом Д. Б. и читал всю записную книжку подряд. Прочел я быстро, но вообще я могу читать эти ребячьи каракули с утра до вечера, все равно чьи. Умора, что они пишут, эти ребята. Потом я закурил сигарету — последнюю из пачки. Я, наверно, выкурил пачек тридцать за этот день. Наконец я решил разбудить Фиби. Не мог же я всю жизнь

сидеть у письменного стола, а кроме того, я боялся, что вдруг явятся родители, а мне хотелось повидаться с ней наедине. Я и разбудил ее.

Она очень легко просыпается. Не надо ни кричать над ней, ни трясти ее. Просто сесть на кровать и сказать: «Фиб, проснись!» Она — гоп! — и проснется.

— Холден! — Она сразу меня узнала. И обхватила меня руками за шею. Она очень ласковая. Такая малышка и такая ласковая. Иногда даже слишком. Я ее чмокнул, а она говорит: — Когда ты приехал? — Обрадовалась она мне до чертиков. Сразу было видно.

— Тише! Сейчас приехал. Ну, как ты?

— Чу́дно! Получил мое письмо? Я тебе написала целых пять страниц.

— Да-да. Не шуми. Получил, спасибо.

Письмо я получил, но ответить не успел. Там все было про школьный спектакль, в котором она участвовала. Она писала, чтобы я освободил себе вечер в пятницу и непременно пришел на спектакль.

— А как ваша пьеса? — спрашиваю. — Забыл название!

— «Рождественская пантомима для американцев», — говорит. — Пьеса дрянь, но я играю Бенедикта Арнольда. У меня самая большая роль! — И куда только сон девался! Она вся раскраснелась, видно, ей было очень интересно рассказывать. — Понимаешь, начинается, когда я при смерти. Сочельник, приходит дух и спрашивает, не стыдно ли мне и так далее. Ну, ты знаешь, не стыдно ли, что предал родину, и все такое. Ты придешь? — Она даже подпрыгнула на кровати. — Я тебе про все писала. Придешь?

— Конечно, приду! А то как же!

— Папа не может прийти. Ему надо лететь в Калифорнию. — Минуты не прошло, а сна ни в одном глазу! Привстала на коленки, держит меня за руку. — Послушай, — говорит, — мама сказала, что ты приедешь только в среду. Да-да, в среду!

— Раньше отпустили. Не шуми. Ты всех перебудишь.

— А который час? Мама сказала, что они вернутся очень поздно. Они поехали в гости в Норуолк, в Коннектикут. Угадай, что я делала сегодня днем? Знаешь, какой фильм видела? Угадай!

— Не знаю, слушай-ка, а они не сказали, в котором часу...

— «Доктор» — вот! Это особенный фильм, его показывали в Листеровском обществе. Один только день — только один день, понимаешь? Там про одного доктора из Кентукки, он кладет одеяло девочке на лицо, она калека, не может ходить. Его сажают в тюрьму, и все такое. Чудная картина!

— Да погоди ты! Они не сказали, в котором часу...

— А доктору ее ужасно жалко. Вот он и кладет ей одеяло на голову, чтоб она задохнулась. Его на всю жизнь посадили в тюрьму, но эта девочка, которую он придушил одеялом, все время является ему во сне и говорит спасибо за то, что он ее придушил. Оказывается, это милосердие, а не убийство. Но все равно он знает, что заслужил тюрьму, потому что человек не должен брать на себя то, что полагается делать богу. Нас повела мать одной девочки из моего класса, Алисы Голмборг. Она моя лучшая подруга. Она одна из всего класса умеет...

— Да погоди же ты, слышишь? Я тебя спрашиваю: они не сказали, в котором часу вернутся домой?

— Нет, не сказали, мама говорила — очень поздно. Папа взял машину, чтобы не спешить на поезд. А у нас в машине радио! Только мама говорит, что нельзя включать, когда большое движение.

Я как-то успокоился. Перестал волноваться, что меня накроют дома. И вообще подумал — накроют, ну и черт с ним!

Вы бы посмотрели на нашу Фиби. На ней была синяя пижама, а по воротнику — красные слоники. Она обожает слонов.

— Значит, картина хорошая, да? — спрашиваю.

— Чудесная, но только у Алисы был насморк, и ее мама все время приставала к ней, не знобит ли ее. Тут картина идет — а она спрашивает. Как начнется самое интересное, так она перегибается через меня и спрашивает: «Тебя не знобит?» Она мне действовала на нервы.

Тут я вспомнил про пластинку.

— Знаешь, я купил тебе пластинку, но по дороге разбил. — Я достал осколки из кармана и показал ей. — Пьян был.

— Отдай мне эти куски, — говорит. — Я их собираю. — Взяла обломки и тут же спрятала их в ночной столик. Умора!

— Д. Б. приедет домой на Рождество? — спрашиваю.

— Мама сказала, может, приедет, а может, нет. Зависит от работы. Может быть, ему придется остаться в Голливуде и написать сценарий про Аннаполис.

— Господи, почему про Аннаполис?

— Там и про любовь, и про все. Угадай, кто в ней будет сниматься? Какая кинозвезда? Вот и не угадаешь!

— Мне не интересно. Подумать только — про Аннаполис! Да что он знает про Аннаполис, господи боже! Какое отношение это имеет к его рассказам? — Фу, просто обалдеть можно от этой чуши! Проклятый Голливуд! — А что у тебя с рукой? — спрашиваю. Увидел, что у нее на локте наклеен пластырь. Пижама у нее без рукавов, потому я и увидел.

— Один мальчишка из нашего класса, Кэртис Вайнтрауб, он меня толкнул, когда я спускалась по лестнице в парке. Хочешь, покажу? — И начала сдирать пластырь с руки.

— Не трогай! А почему он тебя столкнул с лестницы?

— Не знаю. Кажется, он меня ненавидит, — говорит Фиби. — Мы с одной девочкой, с Сельмой Эттербери, намазали ему весь свитер чернилами.

— Это нехорошо. Что ты — маленькая, что ли?

— Нет, но он всегда за мной ходит. Как пойду в парк, он — за мной. Он мне действует на нервы.

— А может быть, ты ему нравишься. Нельзя человеку за это мазать свитер чернилами.

— Не хочу я ему нравиться, — говорит она. И вдруг смотрит на меня очень подозрительно: — Холден, послушай! Почему ты приехал до с р е д ы?

— Что?

Да, с ней держи ухо востро. Если вы думаете, что она дурочка, вы сошли с ума.

— Как это ты приехал до среды? — повторяет она. — Может быть, тебя опять выгнали?

— Я же тебе объяснил. Нас отпустили раньше. Весь класс...

— Нет, тебя выгнали! Выгнали! — повторила она. И как ударит меня кулаком по коленке. Она здорово де-

рется, если на нее найдет. — Выгнали! Ой, Холден! — Она зажала себе рот руками. Честное слово, она ужасно расстроилась.

— Кто тебе сказал, что меня выгнали? Никто тебе не...

— Нет, выгнали! Выгнали! — И опять как даст мне кулаком по коленке. Если вы думаете, что было не больно, вы ошибаетесь. — Папа тебя убьет! — говорит. И вдруг шлепнулась на кровать животом вниз и навалила себе подушку на голову. Она часто так делает. Просто с ума сходит, честное слово.

— Да брось! — говорю. — Никто меня не убьет. Никто меня пальцем не... ну, перестань, Фиб, сними эту дурацкую подушку. Никто меня и не подумает убивать.

Но она подушку не сняла. Ее не переупрямишь никакими силами. Лежит и твердит:

— Папа тебя убьет, убьет. — Сквозь подушку еле было слышно.

— Никто меня не убьет. Не выдумывай. Во-первых, я уеду. Знаешь, что я сделаю? Достану себе работу на каком-нибудь ранчо, хоть на время. Я знаю одного парня, у его дедушки есть ранчо в Колорадо. Может, мне там дадут работу. Я тебе буду писать оттуда, если только я уеду. Ну, перестань! Сними эту чертову подушку. Слышишь, Фиб, брось! Ну, прошу тебя! Брось, слышишь?

Но она держит подушку — и все. Я хотел было стянуть с нее подушку, но эта девчонка сильная как черт. С ней драться устанешь. Уж если она себе навалит подушку на голову, она ее не отдаст.

— Ну, Фиби, пожалуйста. Вылезай, слышишь? — прошу я ее. — Ну, брось... Эй, Уэзерфилд, вылезай, ну!

Нет, не хочет. С ней иногда невозможно договориться. Наконец я встал, пошел в гостиную, взял сигареты из ящичка на столе и сунул в карман. Устал я ужасно.

## 22

Когда я вернулся, она уже сняла подушку с головы — я знал, что так и будет, — и легла на спину, но на меня и смотреть не хотела. Я подошел к кровати, сел, а она сразу отвернулась и не смотрит. Бойкотирует меня, к черту, не хуже этих ребят из фехтовальной команды Пэнси, когда я забыл все их идиотское снаряжение в метро.

— А как поживает твоя Кисела Уэзерфилд? — спрашиваю. — Написала про нее еще рассказ? Тот, что ты мне прислала, лежит в чемодане. Хороший рассказ, честное слово!

— Папа тебя убьет.

Вдолбит себе что-нибудь в голову, так уж вдолбит!

— Нет, не убьет. В крайнем случае накричит опять, а потом отдаст в военную школу. Больше он мне ничего не сделает. А во-вторых, меня тут не будет. Я буду далеко. Я уже буду где-нибудь далеко — наверно, в Колорадо, на этом самом ранчо.

— Не болтай глупостей. Ты даже верхом ездить не умеешь.

— Как это не умею? Умею! Чего тут уметь? Там тебя за две минуты научат, — говорю. — Не смей трогать пластырь! — Она все время дергала пластырь на руке. — А кто тебя так остриг? — спрашиваю. Я толь-

ко сейчас заметил, как ее по-дурацки остригли. Просто обкорнали.

— Не твое дело! — говорит. Она иногда так обрежет. Свысока, понимаете. — Наверно, ты опять провалился по всем предметам, — говорит она тоже свысока. Мне стало смешно. Разговаривает как какая-нибудь учительница, а сама еще только вчера из пеленок.

— Нет, не по всем, — говорю. — По английскому выдержал. — И тут я взял и ущипнул ее за попку. Лежит на боку калачиком, а зад у нее торчит из-под одеяла. Впрочем, у нее сзади почти что ничего нет. Я ее не больно ущипнул, но она хотела ударить меня по руке и промахнулась.

И вдруг она говорит:

— Ах, зачем, зачем ты опять? — Она хотела сказать — зачем я опять вылетел из школы. Но она так это сказала, что мне стало ужасно тоскливо.

— О господи, Фиби, хоть ты меня не спрашивай! — говорю. — Все спрашивают, выдержать невозможно. Зачем, зачем... По тысяче причин! В такой гнусной школе я еще никогда не учился. Все напоказ. Все притворство. Или подлость. Такого скопления подлецов я в жизни не встречал. Например, если сидишь треплешься в компании с ребятами и вдруг кто-то стучит, хочет войти — его ни за что не впустят, если он какой-нибудь придурковатый, прыщавый. Перед носом у него захлопнут двери. Там еще было это треклятое тайное общество — я тоже из трусости в него вступил. И был там один такой зануда, с прыщами, Роберт Экли, ему тоже хотелось в это общество. А его не приняли. Только из-за того, что он зануда и прыщавый. Даже вспоминать противно. Поверь моему слову, такой вонючей школы я еще не встречал.

Моя Фиби молчит и слушает. Я по затылку видел, что она слушает. Она здорово умеет слушать, когда с ней разговариваешь. И самое смешное, что она все понимает, что ей говорят. По-настоящему понимает. Я опять стал рассказывать про Пэнси, хотел все выложить.

— Было там несколько хороших учителей, и все равно они тоже притворщики, — говорю. — Взять этого старика мистера Спенсера. Жена его всегда угощала нас горячим шоколадом, вообще они оба милые. Но ты бы посмотрела, что с ними делалось, когда старый Термер, наш директор, приходил на урок истории и садился на заднюю скамью. Вечно он приходил и сидел сзади примерно с полчаса. Вроде как бы инкогнито, что ли. Посидит, посидит, а потом начинает перебивать старика Спенсера своими кретинскими шуточками. А старик Спенсер из кожи лезет вон — подхихикивает ему, весь расплывается, будто этот Термер какой-нибудь гений, черт бы его удавил!

— Не ругайся, пожалуйста!

— Тебя бы там стошнило, ей-богу! — говорю. — А возьми День выпускников, когда все подонки, окончившие Пэнси чуть ли не с 1776 года, собираются в школе и шляются по всей территории со своими женами и детками. Ты бы посмотрела на одного старикашку лет пятидесяти. Зашел прямо к нам в комнату — постучал, конечно, и спрашивает, нельзя ли ему пройти в уборную. А уборная в конце коридора, мы так и не поняли, почему он именно у нас спросил. И знаешь, что он нам сказал? Говорит — хочу посмотреть, сохранились ли мои инициалы на дверях уборной. Понимаешь, он лет сто назад вырезал свои унылые, дурацкие, бездарные инициалы на дверях уборной и хотел проверить,

целы ли они или нет. И нам с товарищами пришлось проводить его до уборной и стоять там, пока он искал свои кретинские инициалы на всех дверях. Ищет, а сам все время распространяется, что годы, которые он провел в Пэнси, — лучшие годы его жизни, и дает нам какие-то идиотские советы на будущее. Господи, меня от него такая взяла тоска! И не то чтоб он был особенно противный — ничего подобного. Но вовсе и не нужно быть особенно противным, чтоб нагнать на человека тоску, — хороший человек тоже может вконец испортить настроение. Достаточно надавать кучу бездарных советов, пока ищешь свои инициалы на дверях уборной, — и все! Не знаю, может быть, у меня не так испортилось бы настроение, если б этот тип еще не задыхался. Он никак не мог отдышаться после лестницы. Ищет эти свои инициалы, а сам все время отдувается, сопит носом. И жалко, и смешно, да к тому же еще долбит нам со Стрэдлейтером, чтобы мы извлекли из Пэнси все, что можно. Господи, Фиби! Не могу тебе объяснить. Мне все не нравилось в Пэнси. Не могу объяснить!

Тут Фиби что-то сказала, но я не расслышал. Она так уткнулась лицом в подушку, что ничего нельзя было расслышать.

— Что? — говорю. — Повернись сюда. Не слышу я ничего, когда ты говоришь в подушку.

— Тебе вообще ничего не нравится!

Я еще больше расстроился, когда она так сказала.

— Нет, нравится. Многое нравится. Не говори так. Зачем ты так говоришь?

— Потому что это правда. Ничего тебе не нравится. Все школы не нравятся, все на свете тебе не нравится. Не нравится — и все!

— Неправда! Тут ты ошибаешься — вот именно, ошибаешься! Какого черта ты про меня выдумываешь? — Я ужасно расстроился от ее слов.

— Нет, не выдумываю! Назови хоть что-нибудь одно, что ты любишь!

— Что назвать? То, что я люблю? Пожалуйста!

К несчастью, я никак не мог сообразить. Иногда ужасно трудно сосредоточиться.

— Ты хочешь сказать, что я *очень* люблю? — переспросил я.

Она нс сразу ответила. Отодвинулась от меня бог знает куда, на другой конец кровати, чуть ли не на сто миль.

— Ну, отвечай же! Что назвать-то, что я люблю или что мне вообщс нравится?

— Что ты любишь.

— Хорошо, — говорю. Но я никак не мог сообразить. Вспомнил только двух монахинь, которые собирают деньги в потрспанные соломенные корзинки. Особенно вспомнилась та, в стальных очках. Вспомнил я сще мальчика, с которым учился в Элктон-хилле. Там со мной в школе был один такой, Джеймс Касл, он ни за что не хотел взять обратно свои слова — он сказал одну вещь про ужасного воображалу, про Фила Стейбла. Джсймс Касл назвал его самовлюбленным остолопом, и один из этих мерзавцев, дружков Стейбла, пошел и донес ему. Тогда Стейбл с щестью другими гадами пришел в комнату к Джеймсу Каслу, запер двери и пытался заставить его взять свои слова обратно, но Джсймс отказался. Тогда они за него принялись. Я не могу сказать, что они с ним сделали, — ужасную гадость! — но он все-таки не соглашался взять свои слова обратно, вот он был какой, этот Джеймс

Касл. Вы бы на него посмотрели: худой, маленький, руки — как карандаши. И в конце концов знаете, что он сделал, вместо того чтобы отказаться от своих слов? Он выскочил из окна. Я был в душевой и даже оттуда услыхал, как он грохнулся. Я подумал, что из окна что-то упало — радиоприемник или тумбочка, но никак не думал, что это мальчик. Тут я услыхал, что все бегут по коридору и вниз по лестнице. Я накинул халат и тоже помчался по лестнице, а там на ступеньках лежит наш Джеймс Касл. Он уже был мертвый, кругом кровь, зубы у него вылетели, все боялись к нему подойти. А на нем был свитер, который я ему дал поносить. Тем гадам, которые заперлись с ним в комнате, ничего не сделали, их только исключили из школы. Даже в тюрьму не посадили.

Больше я ничего вспомнить не мог. Двух монахинь, с которыми я завтракал, и этого Джеймса Касла, с которым я учился в Элктон-хилле. Самое смешное, говоря по правде, — это то, что я почти не знал этого Джеймса Касла. Он был очень тихий парнишка. Мы учились в одном классе, но он сидел в другом конце и даже редко выходил к доске отвечать. В школе всегда есть ребята, которые редко выходят отвечать к доске. Да и разговаривали мы с ним, по-моему, всего один раз, когда он попросил у меня этот свитер. Я чуть не умер от удивления, когда он меня попросил, до того это было неожиданно. Помню, я чистил зубы в умывалке, а он подошел, сказал, что его кузен повезет его кататься. Я даже не думал, что он знает, что у меня есть теплый свитер. Я про него вообще знал только одно — что в классном журнале он стоял как раз передо мной: Кайбл Р., Кайбл У., Касл, Колфилд — до сих пор помню. А если уж гово-

рить правду, так я чуть не отказался дать ему свитер. Просто потому, что почти не знал его.

— Что? — спросила Фиби, и до этого она что-то говорила, но я не слышал. — Не можешь ничего назвать — ничего!

— Нет, могу. Могу.

— Ну назови!

— Я люблю Алли, — говорю. — И мне нравится вот так сидеть тут, с тобой разговаривать и вспоминать всякие штуки.

— Алли умер — ты всегда повторяешь одно и то же! Раз человек уже умер и попал на небо, значит, нельзя его любить по-настоящему.

— Знаю, что он умер! Что ж, по-твоему, я не знаю, что ли? И все равно я могу его любить! Оттого что человек умер, его нельзя перестать любить, черт побери, особенно если он был лучше всех живых, понимаешь?

Тут Фиби ничего не сказала. Когда ей сказать нечего, она всегда молчит.

— Да и сейчас мне нравится тут, — сказал я. — Понимаешь, сейчас, тут. Сидеть с тобой, болтать про всякое...

— Ну нет, это совсем не то!

— Как не то? Конечно, то! Почему не то, черт побери? Вечно люди про все думают, что это не то. Надоело мне это до черта!

— Перестань чертыхаться! Ладно, назови еще что-нибудь. Назови, кем бы тебе хотелось стать. Ну, ученым, или адвокатом, или еще кем-нибудь.

— Какой из меня ученый? Я к наукам не способен.

— Ну, адвокатом — как папа.

— Адвокатом, наверно, неплохо, но мне все равно не нравится, — говорю. — Понимаешь, неплохо,

если они спасают жизнь невинным людям и вообще занимаются такими делами, но в том-то и штука, что адвокаты ничем таким не занимаются. Если стать адвокатом, так будешь просто гнать деньги, играть в гольф, в бридж, покупать машины, пить сухие коктейли и ходить этаким франтом. И вообще, даже если ты все время спасал бы людям жизнь, откуда бы ты знал, ради чего ты это делаешь — ради того, чтобы на самом деле спасти жизнь человеку, или ради того, чтобы стать знаменитым адвокатом, чтобы тебя все хлопали по плечу и поздравляли, когда ты выиграешь этот треклятый процесс, — словом, как в кино, в дрянных фильмах. Как узнать, делаешь ты все это напоказ или по-настоящему, липа все это или не липа? Нипочем не узнать!

Я не очень был уверен, понимает ли моя Фиби, что я плету. Все-таки она еще совсем маленькая. Но она хоть слушала меня внимательно. А когда тебя слушают, это уже хорошо.

— Папа тебя убьет, он тебя просто убьет, — говорит она опять.

Но я ее не слушал. Мне пришла в голову одна мысль — совершенно дикая мысль.

— Знаешь, кем бы я хотел быть? — говорю. — Знаешь, кем? Если б я мог выбрать то, что хочу, черт подери!

— Перестань чертыхаться! Ну, кем?

— Знаешь такую песенку — «Если ты ловил кого-то вечером во ржи...».

— Не так! Надо «Если кто-то звал кого-то вечером во ржи». Это стихи Роберта Бернса!

— Знаю, что это стихи Бернса.

Она была права. Там действительно «Если кто-то звал кого-то вечером во ржи». Честно говоря, я забыл.

— Мне казалось, что там «ловил кого-то вечером во ржи», — говорю. — Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Наверно, я дурак.

Фиби долго молчала. А потом только повторила:

— Папа тебя убьет.

— Ну и пускай, плевать мне на все! — Я встал с постели, потому что решил позвонить одному человеку, моему учителю английского языка из Элктон-хилла. Его звали мистер Антолини, теперь он жил в Нью-Йорке. Он ушел из Элктон-хилла и получил место преподавателя английского в Нью-Йоркском университете. — Мне надо позвонить по телефону, — говорю я. — Сейчас вернусь. Ты не спи, слышишь? — Мне очень не хотелось, чтобы она заснула, пока я буду звонить по телефону. Я знал, что она не уснет, но все-таки попросил ее не спать.

Я подошел к двери, но тут она меня окликнула:

— Холден! — И я обернулся.

Она сидела на кровати, хорошенькая, просто прелесть.

— Одна девочка, Филлис Маргулис, научила меня икать! — говорит она. — Вот послушай!

Я послушал, но ничего особенного не услыхал.

— Неплохо! — говорю.

И пошел в гостиную звонить по телефону своему бывшему учителю мистеру Антолини.

## 23

Позвонил я очень быстро, потому что боялся — вдруг родители явятся, пока я звоню. Но они не пришли. Мистер Антолини был очень приветлив. Сказал, что я могу прийти хоть сейчас. Наверно, я разбудил их обоих, потому что никто долго не подходил к телефону. Первым делом он меня спросил, что случилось, а я ответил — ничего особенного. Но все-таки я ему рассказал, что меня выставили из Пэнси. Все равно кому-нибудь надо было рассказать. Он сказал:

— Господи, помилуй нас, грешных! — Все-таки у него было настоящее чувство юмора. Велел хоть сейчас приходить, если надо.

Он был самым лучшим из всех моих учителей, этот мистер Антолини. Довольно молодой, немножко старше моего брата, Д. Б., и с ним можно было шутить, хотя все его уважали. Он первый поднял с земли того парнишку, который выбросился из окна, Джеймса Касла, я вам про него рассказывал. Мистер Антолини пощупал у него пульс, потом снял с себя куртку, накрыл Джеймса Касла и понес его на руках в лазарет. И ему было наплевать, что вся куртка пропиталась кровью.

Я вернулся в комнату Д. Б., а моя Фиби там уже включила радио. Играли танцевальную музыку. Радио было приглушено, чтобы не разбудить нашу горничную. Вы бы посмотрели на Фиби. Сидит посреди кровати на одеяле, поджав ноги, словно какой-нибудь йог, и слушает музыку. Умора!

— Вставай! — говорю. — Хочешь, потанцуем?

Я сам научил ее танцевать, когда она еще была совсем крошкой. Она здорово танцует. Вообще я ей только показал немножко, а выучилась она сама. Нельзя выучить человека танцевать по-настоящему, это он только сам может.

— Ты в башмаках, — говорит.

— Ничего, я сниму. Вставай!

Она как спрыгнет с кровати. Подождала, пока я сниму башмаки, а потом мы с ней стали танцевать. Очень уж здорово она танцует. Вообще я не терплю, когда взрослые танцуют с малышами, вид ужасный. Например, какой-нибудь папаша в ресторане вдруг начинает танцевать со своей маленькой дочкой. Он так неловко ее ведет, что у нее вечно платье сзади подымается, да и танцевать она совсем не умеет, — словом, вид жалкий. Но я никогда не стал бы танцевать с Фиби в ресторане. Мы только дома танцуем, и то не всерьез. Хотя она — дело другое, она очень здорово танцует. Она слушается, когда ее ведешь. Только надо ее держать покрепче, тогда не мешает, что у тебя ноги во сто раз длиннее. Она ничуть не отстает. С ней и переходы можно делать, и всякие повороты, даже джиттербаг — она никогда не отстанет. С ней даже танго можно танцевать, вот как!

Мы протанцевали четыре танца. А в перерывах она до того забавно держится, просто смех берет. Стоит

и ждет. Не разговаривает, ничего. Заставляет стоять и ждать, пока оркестр опять не вступит. А мне смешно. Но она даже смеяться не позволяет.

Словом, протанцевали мы четыре танца, и я выключил радио. Моя Фиби нырнула под одеяло и спросила:

— Хорошо я стала танцевать?

— Еще как! — говорю. Я сел к ней на кровать. Я здорово задыхался. Наверно, курил слишком много. А она хоть бы чуть запыхалась!

— Пощупай мой лоб! — говорит она вдруг.

— Зачем?

— Ну пощупай! Приложи руку! — Я приложил ладонь, но ничего не почувствовал. — Сильный у меня жар? — говорит.

— Нет. А разве у тебя жар?

— Да, я его сейчас нагоняю. Потрогай еще раз!

Я опять приложил руку и опять ничего не почувствовал, но все-таки сказал:

— Как будто начинается. — Не хотелось, чтоб у нее развилось что-то вроде этого самого комплекса неполноценности. Она кивнула.

— Я могу нагнать даже на терномотре!

— На тер-мо-мет-ре. Кто тебе показал?

— Алиса Голмборг меня научила. Надо скрестить ноги и думать про что-нибудь очень-очень жаркое. Например, про радиатор. И весь лоб начинает так гореть, что кому-нибудь можно обжечь руку!

Я чуть не расхохотался. Нарочно отдернул от нее руку, как будто боялся обжечься.

— Спасибо, что предупредила! — говорю.

— Нет, я бы тебя не обожгла! Я бы остановилась заранее — тс-с! — И она вдруг привскочила на кровати.

Я страшно испугался.

— Что такое?

— Дверь входная! — говорит она громким шепотом. — Они!

Я вскочил, подбежал к столу, выключил лампу. Потом потушил сигарету, сунул окурок в карман. Помахал рукой, чтоб развеять дым, — и зачем я только курил тут, черт бы меня драл! Потом схватил башмаки, забрался в стенной шкаф и закрыл дверцы. Сердце у меня колотилось как проклятое. Я услышал, как вошла мама.

— Фиби! — говорит. — Перестань притворяться! Я видела у тебя свет, моя милая!

— Здравствуй! — говорит Фиби. — Да, я не могла заснуть. Весело вам было?

— Очень, — сказала мама, но слышно было, что это неправда. Она совершенно не любит ездить в гости. — Почему ты не спишь, разреши узнать? Тебе не холодно?

— Нет, мне тепло. Просто не спится.

— Фиби, ты, по-моему, курила? Говори правду, милая моя!

— Что? — спрашивает Фиби.

— Ты слышишь, что я спросила?

— Да, я на минутку закурила. Один-единственный разок затянулась. А потом выбросила в окошко.

— Зачем же ты это сделала?

— Не могла уснуть.

— Ты меня огорчаешь, Фиби, очень огорчаешь! — сказала мама. — Дать тебе второе одеяло?

— Нет, спасибо! Спокойной ночи! — сказала Фиби. Видно было, что она старается поскорей от нее избавиться.

— А как было в кино? — спрашивает мама.

— Чудесно. Только Алисина мать мешала. Все время перегибалась через меня и спрашивала, знобит Алису или нет. А домой ехали в такси.

— Дай-ка я пощупаю твой лоб.

— Нет, я не заразилась. Она совсем здорова. Это ее мама выдумала.

— Ну, спи с богом. Какой был обед?

— Гадость! — сказала Фиби.

— Ты помнишь, что папа тебе говорил: нельзя называть еду гадостью. И почему — «гадость»? Тебе дали чудную баранью котлетку. Я специально ходила на Лексингтон-авеню.

— Котлета была вкусная, но Чарлина всегда дышит на меня, когда подает еду. И на еду дышит, и на все.

— Ну ладно, спи! Поцелуй маму. Ты прочла молитвы?

— Да, я в ванной помолилась. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи! Засыпай скорей! У меня дико болит голова! — говорит мама. У нее очень часто болит голова. Здорово болит.

— А ты прими аспирин, — говорит Фиби. — Холден приедет в среду?

— Насколько мне известно, да. Ну, укройся получше. Вот так.

Я услыхал, как мама вышла из комнаты и закрыла двери. Подождал минутку, потом вышел из шкафа. И тут же стукнулся о сестренку — она вскочила с постели и шла меня вызволять, а было темно, как в аду.

— Я тебя ушиб? — спрашиваю. Приходилось говорить шепотом, раз все были дома. — Надо бежать! —

говорю. Нащупал в темноте кровать, сел и стал надевать ботинки. Нервничал я здорово, не скрываю.

— Не уходи! — зашептала Фиби. — Подожди, пока они уснут.

— Нет. Надо идти. Сейчас самое время. Она пошла в ванную, а папа сейчас включит радио, будет слушать последние известия. Самое время.

Я не мог даже шнурки завязать как следует, до того я нервничал. Конечно, они бы не убили меня, если б застали дома, но было бы страшно неприятно.

— Да где же ты? — спрашиваю Фиби. Я ее в темноте не мог видеть.

— Вот я. — Она стояла совсем рядом. А я ее не видел.

— Мои чемоданы на вокзале, — говорю. — Скажи, Фиб, есть у тебя какие-нибудь деньги? У меня ни черта не осталось.

— Есть, на рождественские подарки. Я еще ничего не покупала.

— Ах, только! — Я не хотел брать ее подарочные деньги.

— Я тебе немножко одолжу! — говорит. И я услышал, как она роется в столе у Д. Б. — открывает ящик за ящиком и шарит там. Темнота стояла в комнате, ни зги не видно. — Если ты уедешь, ты меня не увидишь на сцене, — говорит, а у самой голос дрожит.

— Как не увижу? Я не уеду, пока не увижу. Думаешь, я пропущу такой спектакль? — спрашиваю. — Знаешь, что я сделаю? Я побуду у мистера Антолини, скажем, до вторника, до вечера. А потом вернусь домой. Если удастся, я тебе позвоню.

— Возьми! — говорит. Она мне протягивала какие-то деньги, но не могла найти мою руку. — Где ты? — Нашла мою руку, сунула деньги.

— Эй, да мне столько не нужно! — говорю. — Дай два доллара — и все. Честное слово, забирай обратно!

Я ей совал деньги в руку, а она не брала.

— Возьми, возьми все! Потом отдашь! Принесешь на спектакль.

— Да сколько у тебя тут, господи?

— Восемь долларов и восемьдесят пять центов. Нет, шестьдесят пять. Я уже много истратила.

И тут я вдруг заплакал. Никак не мог удержаться. Стараюсь, чтоб никто не услышал, а сам плачу и плачу. Фиби перепугалась до смерти, когда я расплакался, подошла ко мне, успокаивает, но разве сразу остановишься? Я сидел на краю постели и ревел, а она обхватила мою шею лапами, я ее тоже обнял и реву, никак не могу остановиться. Казалось, сейчас задохнусь от слез. Фиби, бедняга, испугалась ужасно. Окно было открыто, и я чувствовал, как она дрожит в одной пижаме. Хотел ее уложить в постель, укрыть, но она не ложилась. Наконец я перестал плакать. Но я долго, очень долго не мог успокоиться. Потом застегнул доверху пальто, сказал, что непременно дам ей знать. Она сказала, что лучше бы я лег спать тут, у нее в комнате, но я сказал — нет, меня уже ждет мистер Антолини. Потом я вынул из кармана охотничью шапку и подарил ей. Она ужасно любит всякие дурацкие шапки. Сначала она не хотела брать, но я ее уговорил. Даю слово, она, наверно, так и уснула в этой шапке. Она любит такие штуки. Я ей еще раз обещал звякнуть, если удастся, и ушел.

Уйти из дому было почему-то гораздо легче, чем войти. Во-первых, мне было плевать, поймают меня или нет. Честное слово. Я подумал: поймают так поймают. Откровенно говоря, мне даже хотелось, чтоб поймали.

Вниз я спускался пешком, а не в лифте. Я шел по черной лестнице. Чуть не сломал шею — там этих мусорных бачков миллионов десять, — но наконец выбрался. Лифтер меня даже не видел. Наверно, до сих пор думает, что я сижу у этих Дикстайнов.

## 24

Мистер и миссис Антолини жили в очень шикарной квартире на Саттон-плейс, там у них в гостиной был даже собственный бар — надо было только спуститься вниз на две ступеньки. Я был у них несколько раз, потому что, когда я ушел из Элктон-хилла, мистер Антолини приезжал к нам домой узнать, как я живу, и часто у нас обедал. Тогда он не был женат. А когда он женился, я часто играл в теннис с ним и с миссис Антолини на Лонг-Айленде, в форест-хиллском теннисном клубе. Миссис Антолини — член этого клуба, денег у нее до черта. Она старше мистера Антолини лет на сто, но они, кажется, очень любят друг друга. Во-первых, они оба очень образованные, особенно мистер Антолини, хотя когда он с кем-нибудь разговаривает, он больше шутит, чем говорит про умное, вроде нашего Д. Б. Миссис Антолини — та была серьезнее. У нее бывали припадки астмы. Они оба читали все рассказы Д. Б. — она тоже, — и, когда Д. Б. собрался ехать в Голливуд, мистер Антолини позвонил ему и уговаривал не ехать. Но Д. Б. все равно уехал. Мистер Антолини говорил, что если человек умеет писать, как Д. Б., то ему в Голливуде делать нечего. И я говорил то же самое в точности.

Я дошел бы до их дома пешком, потому что не хотелось зря тратить Фибины подарочные деньги, но, когда я вышел из дому, мне стало не по себе. Головокружение какое-то. Пришлось взять такси. Не хотелось, но пришлось. Еще еле нашел машину.

Мистер Антолини сам открыл мне двери, когда я позвонил, — лифтер, мерзавец, никак меня не впускал. На нем были халат и туфли, а в руках бокал. Человек он был утонченный, но пил как лошадь.

— Холден, мой мальчик! — говорит. — Господи, да он вырос чуть ли не на полметра. Рад тебя видеть!

— А как вы, мистер Антолини? Как миссис Антолини?

— О, у нас все чудесно! Давай-ка свою куртку. — Он взял мою куртку, повесил ее. — А я думал, что ты явишься с новорожденным младенцем на руках. Деваться некуда. На ресницах снежинки тают.

Он вообще любил острить. Потом повернулся и заорал в кухню:

— Лилиан! Как там кофе? — Его жену зовут Лилиан.

— Готов! — кричит. — Это Холден? Здравствуй, Холден!

— Здравствуйте, миссис Антолини!

У них дома всегда приходится орать, потому что они постоянно торчат в разных комнатах. Странно, конечно.

— Садись, Холден, — сказал мистер Антолини. Видно было, что он немножко на взводе. Комната выглядела так, будто только что ушли гости. Везде стаканы, блюда с орехами. — Прости за беспорядок, — говорит мистер Антолини. — Мы принимали друзей миссис Антолини из Барбизона... Бизоны из Барбизона!

Я рассмеялся, а миссис Антолини прокричала мне что-то из кухни, но я не расслышал.

— Что она сказала? — спрашиваю.

— Говорит — не смотри на нее, когда она войдет. Она встала с постели. Хочешь сигарету? Ты куришь?

— Спасибо. — Я взял сигарету из ящичка. — Иногда курю, но очень умеренно.

— Верю, верю. — Он дал мне прикурить от огромной зажигалки. — Так. Значит, ты и Пэнси разошлись, как в море корабли.

Он любит так высокопарно выражаться. Иногда мне смешно, а иногда ничуть. Перехватывает он часто. Я не могу сказать, что он неостроумный, нет, он очень остроумный, но иногда мне действуют на нервы, когда непрестанно говорят фразы вроде «Разошлись, как в море корабли!». Д. Б. тоже иногда перехватывает.

— В чем же дело? — спрашивает мистер Антолини. — Как у тебя с английским? Если бы ты провалился по английскому, я тебя тут же выставил бы за дверь. Ты же у нас по сочинениям был первым из первых.

— Нет, английский я сдал хорошо. Правда, мы больше занимались литературой. Но я провалился по устной речи. У нас был такой курс — устная речь. Я по ней провалился.

— Почему?

— Сам не знаю, — говорю. Мне не хотелось рассказывать. Чувствовал я себя плохо, а тут еще страшно разболелась голова. Ужасно разболелась. Но ему, как видно, очень хотелось все узнать, и я стал рассказывать. — Понимаете, на этих уроках каждый должен был встать и произнести речь. Ну, вы знаете, вроде

импровизации на тему, и все такое. А если кто отклонялся от темы, все сразу кричали: «Отклоняешься!» Меня это просто бесило. Я и получил кол.

— Но почему же?

— Да сам не знаю. Действует на нервы, когда все орут: «Отклоняешься!» А вот я почему-то люблю, когда отклоняются от темы. Гораздо интереснее.

— Разве ты не хочешь, чтобы человек придерживался того, о чем он тебе рассказывает?

— Нет, хочу, конечно. Конечно, я хочу, чтобы мне рассказывали по порядку. Но я не люблю, когда рассказывают все время только про одно. Сам не знаю. Наверно, мне скучно, когда все время говорят про одно и то же. Конечно, ребята, которые все время придерживались одной темы, получали самые высокие оценки — это справедливо. Но у нас был один мальчик — Ричард Кинселла. Он никак не мог говорить на тему, и вечно ему кричали: «Отклоняешься от темы!» Это было ужасно, прежде всего потому, что он был страшно нервный — понимаете, страшно нервный малый, и у него даже губы тряслись, когда его вызывали, и говорил он так, что ничего не было слышно, особенно если сидишь сзади. Но когда у него губы немножко переставали дрожать, он рассказывал интереснее всех. Но он тоже фактически провалился. А все потому, что ребята все время орали: «Отклоняешься от темы!» Например, он рассказывал про ферму, которую его отец купил в Вермонте. Он говорит, а ему все время кричат: «Отклоняешься!», а наш учитель, мистер Винсон, влепил ему кол за то, что он не рассказал, какой там животный и растительный мир у них на ферме. А он, этот самый Ричард Кинселла, он так рассказывал: начнет про эту ферму, что там

было, а потом вдруг расскажет про письмо, которое мать получила от его дяди, и как этот дядя в сорок четыре года перенес полиомиелит и никого не пускал к себе в госпиталь, потому что не хотел, чтобы его видели калекой. Конечно, к ферме это не имело никакого отношения, — согласен! — но зато интересно. Интересно, когда человек рассказывает про своего дядю. Особенно когда он начнет что-то плести про отцовскую ферму, и вдруг ему захочется рассказать про своего дядю. И свинство орать: «Отклоняешься от темы!», когда он только-только разговорится, оживет... Не знаю... Трудно мне это объяснить.

Мне и не хотелось объяснять. Уж очень у меня болела голова. Я только мечтал, чтобы миссис Антолини поскорее принесла кофе. Меня до смерти раздражает, когда кричат, что кофе готов, а его все нет.

— Слушай, Холден... Могу я задать тебе короткий, несколько старомодный педагогический вопрос: не думаешь ли ты, что всему свое время и свое место? Не считаешь ли ты, что, если человек начал рассказывать про отцовскую ферму, он должен придерживаться своей темы, а в другой раз уже рассказать про болезнь дяди? А если болезнь дяди столь увлекательный предмет, то почему бы оратору не выбрать именно эту тему, а не ферму?

Неохота было думать, неохота отвечать. Ужасно болела голова, и чувствовал я себя гнусно. По правде говоря, у меня и живот болел.

— Да, наверно. Наверно, это так. Наверно, надо было взять темой дядю, а не ферму, раз ему про дядю интересно. Но понимаете, чаще всего ты сам не знаешь, что тебе интереснее, пока не начнешь рассказывать про неинтересное. Бывает, что это от тебя не

зависит. Но, по-моему, надо дать человеку выговориться, раз он начал интересно рассказывать и увлекся. Очень люблю, когда человек с увлечением рассказывает. Это хорошо. Вы не знали этого учителя, этого Винсона. Он вас тоже довел бы до бешенства, он и эти ребята в классе. Понимаете, он все долбил — надо обобщать, надо упрощать. А разве можно все упростить, все обобщить? И вообще, разве по чужому желанию можно обобщать и упрощать? Нет, вы этого мистера Винсона не знаете. Конечно, сразу было видно, что он образованный и все такое, но мозгов у него определенно не хватало.

— Вот вам наконец и кофе, джентльмены! — сказала миссис Антолини. Она внесла поднос с кофе, печеньем и всякой едой. — Холден, не надо на меня смотреть! Я в ужасном виде!

— Здравствуйте, миссис Антолини! — говорю. Я хотел встать, но мистер Антолини схватил меня за куртку и потянул вниз. У миссис Антолини вся голова была в этих железных штучках для завивки, и губы не намазаны, вообще вид неважный. Старая какая-то.

— Я вам все тут поставлю. Сами угощайтесь, — сказала она. Потом поставила поднос на курительный столик, отодвинула стаканы. — Как твоя мама, Холден?

— Ничего, спасибо. Я ее уже давно не видел, но в последний раз...

— Милый, все, что Холдену может понадобиться, лежит в бельевом шкафу. На верхней полке. Я ложусь спать. Устала предельно, — сказала миссис Антолини. По ней это было видно. — Мальчики, вы сумеете сами постлать постель?

— Все сделаем. Ложись-ка скорее! — сказал мистер Антолини. Он поцеловал жену, она попрощалась со мной и ушла в спальню. Они всегда целовались при других.

Я выпил полчашки кофе и съел печенье, твердое как камень. А мистер Антолини опять выпил виски. Видно было, что он почти не разбавляет. Он может стать настоящим алкоголиком, если не удержится.

— Я завтракал с твоим отцом недели две назад, — говорит он вдруг. — Ты об этом знал?

— Нет, не знал.

— Но тебе, разумеется, известно, что он чрезвычайно озабочен твоей судьбой?

— Да, конечно. Конечно, известно.

— Очевидно, перед тем как позвонить мне, он получил весьма тревожное письмо от твоего бывшего директора о том, что ты не прилагаешь никаких стараний к занятиям. Пропускаешь лекции, совершенно не готовишь уроки, вообще абсолютно ни в чем...

— Нет, я ничего не пропускал. Нам запрещалось пропускать занятия. Иногда я не ходил, например, на эту устную речь, но вообще я ничего не пропускал.

Очень не хотелось разговаривать о моих делах. От кофе немного перестал болеть живот, но голова просто раскалывалась.

Мистер Антолини закурил вторую сигарету. Курил он как паровоз. Потом сказал:

— Откровенно говоря, черт его знает, что тебе сказать, Холден.

— Понимаю. Со мной трудно разговаривать. Я знаю.

— Мне кажется, что ты несешься к какой-то страшной пропасти. Но, честно говоря, я и сам не знаю... да ты меня слушаешь?

— Да.

Видно было, что он очень старается сосредоточиться.

— Может быть, ты дойдешь до того, что в тридцать лет станешь завсегдатаем какого-нибудь бара и будешь ненавидеть каждого, кто с виду похож на чемпиона университетской футбольной команды. А может быть, ты станешь со временем достаточно образованным и будешь ненавидеть людей, которые говорят: «Мы вроде вместе переживали...» А может быть, ты будешь служить в какой-нибудь конторе и швырять скрепками в не угодившую тебе стенографистку — сам не знаю. Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Да, конечно, — сказал я. И я его отлично понимал. — Но вы не правы насчет того, что я всех буду ненавидеть. Всяких футбольных чемпионов и так далее. Тут вы не правы. Я очень мало кого ненавижу. Бывает, что я вдруг кого-нибудь возненавижу, как, скажем, этого Стрэдлейтера, с которым я был в Пэнси, или того, другого парня, Роберта Экли. Бывало, конечно, что я их страшно ненавидел, сознаюсь, но всегда ненадолго, понимаете? Иногда не видишь его долго, он не заходит в комнату или в столовой его не встречаешь, и без него становится скучно. Понимаете, даже скучаю без него.

Мистер Антолини долго молчал, потом встал, положил кусок льда в виски и опять сел. Видно было, что он задумался. Лучше бы он продолжал разговор утром, а не сейчас, но его уже разобрало. Людей всегда разбирает желание спорить, когда у тебя нет никакого настроения.

— Хорошо... Теперь выслушай меня внимательно. Может быть, я сейчас не смогу достаточно четко сформулировать свою мысль, но я через день-два напишу тебе письмо. Тогда ты все уяснишь себе до конца. Но пока что выслушай меня.

Я видел, что он опять старается сосредоточиться.

— Пропасть, в которую ты летишь, — ужасная пропасть, опасная. Тот, кто в нее падает, никогда не почувствует дна. Он падает, падает без конца. Это бывает с людьми, которые в какой-то момент своей жизни стали искать то, чего им не может дать их привычное окружение. Вернее, они думали, что в привычном окружении они ничего для себя найти не могут. И они перестали искать. Перестали искать, даже не делая попытки что-нибудь найти. Ты следишь за моей мыслью?

— Да, сэр.

— Правда?

— Да.

Он встал, налил себе еще виски. Потом опять сел. И долго молчал, очень долго.

— Не хочу тебя пугать, — сказал он наконец, — но я совершенно ясно себе представляю, как ты благородно жертвуешь жизнью за какое-нибудь пустое, нестоящее дело. — Он посмотрел на меня странными глазами. — Скажи, если я тебе напишу одну вещь, обещаешь прочесть внимательно? И сберечь?

— Да, конечно, — сказал я. Я и на самом деле сберег листок, который он мне тогда дал. Этот листок и сейчас у меня.

Он подошел к своему письменному столу и, не присаживаясь, что-то написал на клочке бумаги. Потом вернулся и сел, держа листок в руке.

— Как ни странно, написал это не литератор, не поэт. Это сказал психоаналитик по имени Вильгельм Штекель. Вот что он... да ты меня слушаешь?

— Ну конечно.

— Вот что он говорит: «Признак незрелости человека — то, что он хочет благородно умереть за правое дело, а признак зрелости — то, что он хочет смиренно жить ради правого дела».

Он наклонился и подал мне бумажку. Я прочел еще раз, а потом поблагодарил его и сунул листок в карман. Все-таки с его стороны было очень мило, что он так ради меня старался. Жалко, что я никак не мог сосредоточиться. Здорово я устал, по правде говоря.

А он ничуть не устал. Главное, он порядочно выпил.

— Настанет день, — говорит он вдруг, — и тебе придется решать, куда идти. И сразу надо идти туда, куда ты решил. Немедленно. Ты не имеешь права терять ни минуты. Тебе это нельзя.

Я кивнул головой, потому что он смотрел прямо мне в глаза, но я не совсем понимал, о чем он говорит. Немножко я соображал, но все-таки не был уверен, что я правильно понимаю. Уж очень я устал.

— Не хочется повторять одно и то же, — говорит он, — но я думаю, что, как только ты для себя определишь свой дальнейший путь, тебе придется первым делом серьезно отнестись к школьным занятиям. Да, придется. Ты мыслящий человек, нравится тебе это название или нет. Ты тянешься к науке. И мне кажется, что, когда ты преодолеешь всех этих мистеров Виндси и их «устную композицию», ты...

— Винсонов, — сказал я. Он, наверно, думал про мистеров Винсонов, а не Виндси. Но все-таки зря я его перебил.

— Хорошо, всех этих мистеров Винсонов. Когда ты преодолеешь всех мистеров Винсонов, ты начнешь все ближе и ближе подходить — разумеется, если захочешь, если будешь к этому стремиться, ждать этого, — подойдешь ближе к тем знаниям, которые станут очень, очень дороги твоему сердцу. И тогда ты обнаружишь, что ты не первый, в ком люди и их поведение вызывали растерянность, страх и даже отвращение. Ты поймешь, что не один ты так чувствуешь, и это тебя обрадует, поддержит. Многие, очень многие люди пережили ту же растерянность в вопросах нравственных, душевных, какую ты переживаешь сейчас. К счастью, некоторые из них записали свои переживания. От них ты многому научишься — если, конечно, захочешь. Так же, как другие когда-нибудь научатся от тебя, если у тебя будет что им сказать. Взаимная помощь — это прекрасно. И она не только в знаниях. Она в поэзии. Она в истории.

Он остановился, отпил глоток из бокала и опять заговорил. Вот до чего он увлекся. Хорошо, что я его не прерывал, не останавливал.

— Не хочу внушать тебе, что только люди ученые, образованные могут внести ценный вклад в жизнь, — продолжал он. — Это не так. Но я утверждаю, что образованные и ученые люди при условии, что они вместе с тем люди талантливые, творческие — что, к сожалению, встречается редко, — эти люди оставляют после себя гораздо более ценное наследие, чем люди просто талантливые и творческие. Они стремятся выразить свою мысль как можно яснее, они

упорно и настойчиво доводят свой замысел до конца. И что самое важное, в десяти случаях из десяти люди науки гораздо скромнее, чем люди неученые, хотя и мыслящие. Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Да, сэр.

Он молчал довольно долго. Не знаю, бывало с вами так или нет, но ужасно трудно сидеть и ждать, пока человек, который о чем-то задумался, опять заговорит. Ей-богу, трудно. Я изо всех сил старался не зевнуть. И не то чтобы мне было скучно слушать, вовсе нет, но на меня вдруг напала жуткая сонливость.

— Есть еще одно преимущество, которое тебе даст академический курс. Если ты достаточно углубишься в занятия, ты получишь представление о возможностях твоего разума. Что ему показано, а что — нет. И через какое-то время ты поймешь, какой образ мысли тебе подходит, а какой — нет. И это поможет тебе не затрачивать много лишнего времени на то, чтобы прилаживать к себе какой-нибудь образ мышления, который тебе совершенно не годится, не идет тебе. Ты узнаешь свою истинную меру и по ней будешь подбирать одежду своему уму.

И тут вдруг я зевнул во весь рот. Грубая скотина, знаю, но что я мог сделать? Но мистер Антолини только рассмеялся.

— Ладно! — сказал он, вставая. — Давай стелить тебе постель!

Я пошел за ним к шкафу, он попробовал было достать мне простыни и одеяла с верхней полки, но ему мешал бокал в руке. Тогда он его допил, поставил на пол, а уж потом достал все, что надо. Я ему помог дотащить все это до дивана. Мы вместе стали стелить постель. Нельзя сказать, что он проявил особую лов-

кость. Ничего не умел как следует заправить. Но мне было все равно. Я готов был спать хоть стоя, до того я устал.

— А как твои увлечения?

— Ничего. — Собеседником я оказался никудышным, но уж очень не хотелось разговаривать.

— Как поживает Салли? — Он знал Салли Хейс. Я их как-то познакомил.

— Хорошо. Мы с ней виделись сегодня днем. — Черт, мне показалось, что с тех пор прошло лет двадцать! — Но у нас теперь с ней мало общего.

— Удивительно красивая девочка. А как та, другая? Помнишь, ты рассказывал, ты с ней познакомился в Мейне...

— А-а, Джейн Галлахер. Она ничего. Я ей, наверно, завтра звякну по телефону.

Наконец мы постелили постель.

— Располагайся! — говорит мистер Антолини. — Не знаю, куда ты денешь свои длинные ноги!

— Ничего, я привык к коротким кроватям. Большое вам спасибо, сэр. Вы с миссис Антолини действительно спасли мне сегодня жизнь!

— Где ванная, ты знаешь. Если что понадобится — позови. Я еще посижу в кухне. Свет не помешает?

— Нет, что вы! Огромное спасибо!

— Брось! Ну, спокойной ночи, дружище!

— Спокойной ночи, сэр! Огромное спасибо!

Он вышел в кухню, а я пошел в ванную, разделся, умылся. Зубы я не чистил, потому что не взял с собой зубную щетку. И пижамы у меня не было, а мистер Антолини забыл мне дать. Я вернулся в гостиную, потушил лампочку над диваном и забрался под одеяло в одних трусах. Диван был коротковат, слов нет,

но я мог бы спать хоть стоя и глазом бы не моргнул. Секунды две я лежал, думал о том, что говорил мистер Антолини. Насчет образа мышления, и все такое. Он очень умный, честное слово. Но глаза у меня сами закрывались, и я уснул.

Потом случилась одна вещь. По правде говоря, и рассказывать неохота.

Я вдруг проснулся. Не знаю, который был час, но я проснулся. Я почувствовал что-то у себя на лбу, чью-то руку. Господи, как я испугался! Оказывается, это была рука мистера Антолини. Он сидел на полу рядом с диваном и не то пощупал мне лоб, не то погладил по голове. Честное слово, я подскочил на тысячу метров!

— Что вы делаете?

— Ничего! Просто гляжу на тебя... любуюсь...

— Нет, что это вы тут делаете? — говорю я опять. Я совершенно не знал, что сказать, растерялся, как болван.

— Тише, что ты! Я просто подошел взглянуть...

— Мне все равно пора идти, — говорю. Господи, как я испугался! Я стал натягивать в темноте брюки, никак не мог попасть, до того я нервничал. Насмотрелся я в школах всякого, столько мне пришлось видеть этих проклятых психов, как никому; при мне они совсем распсиховывались.

— Куда тебе пора идти? — спросил мистер Антолини. Он старался говорить очень спокойно и холодно, но видно было, что он растерялся. Можете мне поверить.

— Я оставил чемоданы на вокзале. Пожалуй, надо съездить, забрать их. Там все мои вещи.

— Вещи никуда до утра не убегут. Ложись, пожалуйста, спи. Я тоже ухожу спать. Не понимаю, что с тобой творится?

— Ничего не творится, просто у меня в чемоданах все вещи и все деньги. Я сейчас вернусь. Возьму такси и вернусь. — Черт, я чуть себе башку не свернул в темноте. — Дело в том, что деньги не мои. Они мамины, и мне надо...

— Не глупи, Холден. Ложись спать. Я тоже ухожу спать. Никуда твои деньги до утра не денутся...

— Нет, нет, мне надо идти, честное слово.

Я уже почти оделся, только галстука не нашел. Никак не мог вспомнить, куда я девал этот проклятый галстук. Я надел куртку — уйду без галстука. А мистер Антолини сел в кресло поодаль и смотрел на меня. Было темно, я его плохо видел, но чувствовал, как он наблюдает за мной. А сам пьет. Так и не выпустил из рук свой верный бокал.

— Ты удивительно странный мальчик, очень, очень странный!

— Знаю, — сказал я. Я даже не стал искать галстук. Так и пошел без него. — До свидания, сэр! — говорю. — И большое спасибо, честное слово!

Он шел за мной до самых дверей, а когда я стал вызывать лифт, он остановился на пороге. И опять повторил, что я очень, очень странный мальчик. Да, странный, как бы не так! Он дожидался, пока не пришел этот треклятый лифт. Никогда в жизни я столько не ждал лифта, черт бы его побрал. Целую вечность, клянусь богом!

Я даже не знал, о чем говорить, пока я ждал лифт, а он стоял в дверях, и я сказал:

— Начну читать хорошие книжки, правда, начну! — Надо же было что-то сказать. Вообще неловко вышло.

— А ты забирай свои чемоданы и лети обратно сюда! Я оставлю дверь открытой.

— Большое спасибо! — говорю. — До свидания. — Лифт наконец пришел. Я закрыл двери, стал спускаться. Господи, как меня трясло! И пот прошиб. Когда со мной случаются всякие такие пакостные штуки, меня пот прошибает. А в школе я сталкивался с этими гадостями раз двадцать. С самого детства. Ненавижу!

## 25

Когда я вышел на улицу, начинало светать. Стоял сильный холод, но мне было приятно, потому что я так вспотел.

Куда идти, я совершенно не знал. Брать номер в гостинице на сестренкины деньги я не хотел. В конце концов я пошел пешком к Лексингтону и сел в метро до Центрального вокзала. Чемоданы были на вокзале, и я решил выспаться в зале ожидания, там, где натыканы эти дурацкие скамейки. Так я и сделал. Сначала было ничего, народу немного, можно было прилечь, положить ноги на скамью. Но я не хочу об этом рассказывать. Довольно противное ощущение. Лучше не ходите туда. Я серьезно говорю! Тоска берет!

Спал я часов до девяти, а там хлынул миллион народу, пришлось убрать ноги. А я не могу спать, когда ноги висят. Я сел. Голова болела по-прежнему. Даже сильнее. А настроение было до того скверное, никогда в жизни у меня не было такого скверного настроения.

Не хотелось думать про мистера Антолини, но я не мог не думать, что же он скажет своей жене, когда она увидит, что я у них не ночевал. Но меня не это беспокоило, я отлично знал, что мистер Антолини не дурак, сообразит, что ей сказать. Скажет, что я уехал домой, и все. Это меня не очень беспокоило. А мучило другое — то, как я проснулся оттого, что он погладил меня по голове. Понимаете, я вдруг подумал — должно быть, я зря вообразил, что он хотел ко мне пристать. Должно быть, он просто хотел меня погладить по голове, может, он любит гладить ребят по голове, когда они спят. Разве можно сказать наверняка? Никак нельзя! Я даже подумал — надо было мне взять чемоданы и вернуться к ним в дом, как я обещал. Понимаете, я стал думать, что даже если бы он был со странностями, так ко мне-то он отнесся замечательно. Не рассердился, когда я его разбудил среди ночи, сказал — приезжай хоть сейчас, если надо. И как он старался, давал мне всякие советы насчет образа мыслей и прочее, и как он один из всех не побоялся подойти к этому мальчику, к Джеймсу Каслу, когда тот лежал мертвый, помните, я вам рассказывал. Я сидел и думал про все про это. И чем больше думал, тем настроение становилось хуже. Мучила меня мысль, что надо было вернуться к ним домой. Наверно, он действительно погладил меня по голове п р о с т о т а к. И чем больше я об этом думал, тем больше мучился и расстраивался. И тут еще у меня вдруг разболелись глаза. Болят, горят как проклятые, оттого что я не выспался. И потом начался насморк, а носового платка не было. В чемодане лежали платки, но не хотелось доставать чемодан из хранения да еще открывать его у всех на виду.

Рядом со мной на скамейке кто-то забыл журнал, и я начал читать. Может быть, перестану думать о мистере Антолини и о всякой чепухе, хоть на время забуду. Но от этой проклятой статьи мне стало во сто раз хуже. Там было про всякие гормоны. Описывалось, какой у вас должен быть вид, какие глаза, лицо, если у вас все гормоны в порядке, а у меня вид был как раз наоборот: у меня был точно такой вид, как у того типа, которого описывали в статье, у него все гормоны были нарушены. Я стал ужасно беспокоиться, что с моими гормонами. А потом я стал читать вторую статью — как заранее обнаружить, есть у тебя рак или нет. Там говорилось, что если во рту есть ранки, которые долго не заживают, значит, ты, по всей вероятности, болен раком. А у меня на губе внутри была ранка уже недели две!!! Я и подумал — видно, у меня начинается рак. Да, веселенький журнальчик, ничего не скажешь! Я его бросил и пошел прогуляться. Я высчитал, что, раз у меня рак, я через два-три месяца умру. Серьезно, я так думал. Я был твердо уверен, что умру. И настроение от этого не улучшилось, сами понимаете.

Как будто начинался дождь, но я все равно пошел гулять. Во-первых, надо было позавтракать. Есть не хотелось, но я подумал, что все-таки надо подкрепиться. Съесть по крайней мере что-нибудь витаминозное. Я пошел к восточным кварталам, где дешевые рестораны: не хотелось тратить много денег.

По дороге я увидел, как двое сгружали с машин огромную елку. И один все время кричал другому:

— Держи ее, чертову куклу, крепче держи, так ее и так! — Очень красиво говорить так про рождественскую елку!

Но мне почему-то стало смешно, и я расхохотался. Хуже ничего быть не могло, меня сразу начало мутить. Я чуть не стравил, но потом прошло, сам не знаю как. И ведь я ничего несвежего не ел, да и вообще желудок у меня выносливый.

Словом, пока что все прошло, и я решил — надо поесть. Я зашел в очень дешевый ресторанчик и заказал пышки и кофе. Только пышек я есть не стал, не мог проглотить ни куска. Когда ты чем-нибудь очень расстроен, глотать очень трудно. Но официант был славный. Он унес пышки и ничего с меня не взял. Я только выпил кофе. И пошел по направлению к Пятой авеню.

Был понедельник, подходило Рождество, и магазины торговали вовсю. На Пятой авеню было совсем неплохо. Чувствовалось рождественское настроение. На всех углах стояли бородатые Санта-Клаусы, звонили в колокольчики, и женщины из Армии спасения, те, что никогда не красят губы, тоже звонили в колокольчики. Я все искал этих двух монахинь, с которыми я накануне завтракал, но их нигде не было. Впрочем, я так и знал, потому что они мне сами сказали, что приехали в Нью-Йорк учительствовать, но все-таки я их искал. Во всяком случае, настроение вдруг стало совсем рождественское. Миллионы ребятишек с матерями выходили из автобусов, выходили и выходили из магазинов. Как было бы хорошо, если бы Фиби была со мной. Не такая она маленькая, чтобы глазеть на игрушки до обалдения, но любит смотреть на толпу и вытворять всякие глупости. Прошлым Рождеством я ее взял с собой в город за покупками. Чего мы только не выделывали! По-моему, это было у Блумингдейла. Мы зашли в обувной отдел и

сделали вид, что ей, сестренке, нужна пара этих высоченных горных ботинок, знаете, которые зашнуровываются на миллион дырочек. Мы чуть с ума не свели этого несчастного продавца. Моя Фиби перемерила пар двадцать, и каждый раз ему, бедняге, приходилось зашнуровывать ей один башмак до самого колена. Свинство, конечно, но Фиби просто умирала от смеха. В конце концов мы купили пару домашних туфель и попросили прислать на дом. Продавец оказался очень славный. По-моему, он понимал, что мы балуемся, потому что Фиби все время покатывалась со смеху.

Я шел по Пятой авеню без галстука, шел и шел все дальше. И вдруг со мной приключилась жуткая штука. Каждый раз, когда я доходил до конца квартала и переходил с тротуара на мостовую, мне вдруг начинало казаться, что я никак не смогу перейти на ту сторону. Мне казалось, что я вдруг провалюсь вниз, вниз, вниз и больше меня так и не увидят. Ох, до чего я перепугался, вы даже вообразить не можете. Я весь вспотел, вся рубаха и белье, все промокло насквозь. И тут я стал проделывать одну штуку. Только дойду до угла, сразу начинаю разговаривать с моим братом, с Алли. Я ему говорю: «Алли, не дай мне пропасть! Алли, не дай мне пропасть! Алли, не дай мне пропасть! Алли, прошу тебя!» А как только благополучно перейду на другую сторону, я ему говорю спасибо. И так на каждом углу — все сначала. Но я не останавливался. Кажется, я боялся остановиться — по правде сказать, я плохо помню. Знаю только, что я дошел до самой Шестидесятой улицы, мимо зоопарка, бог знает куда. Тут я сел на скамью. Я задыхался, пот с меня лил градом. Просидел я на этой скамье, наверно, около

часа. Наконец я решил, что мне надо делать. Я решил уехать. Решил, что не вернусь больше домой и ни в какие школы не поступлю. Решил, что повидаюсь с сестренкой, отдам ей деньги, а потом выйду на шоссе и буду голосовать, пока не уеду далеко на Запад. Я решил — сначала доеду до Холленд-Таннел, откуда проголосую и поеду дальше, потом опять проголосую и опять, так чтобы через несколько дней оказаться далеко на Западе, где тепло и красиво и где меня никто не знает. И там я найду себе работу. Я подумал, что легко найду работу на какой-нибудь заправочной станции у бензоколонки, буду обслуживать проезжих. В общем, мне было все равно, какую работу делать, лишь бы меня никто не знал и я никого не знал. Я решил сделать вот что: притвориться глухонемым. Тогда не надо будет ни с кем заводить всякие ненужные глупые разговоры. Если кто-нибудь захочет со мной поговорить, ему придется писать на бумажке и показывать мне. Им это так в конце концов осточертеет, что я на всю жизнь избавлюсь от разговоров. Все будут считать, что я несчастный глухонемой дурачок, и оставят меня в покое. Я буду заправлять их дурацкие машины, получать за это жалованье и потом построю себе на скопленные деньги хижину и буду там жить до конца жизни. Хижина будет стоять на опушке леса — только не в самой чаще, я люблю, чтобы солнце светило на меня во все лопатки. Готовить еду я буду сам, а позже, когда мне захочется жениться, я, может быть, встречу какую-нибудь красивую глухонемую девушку, и мы поженимся. Она будет жить со мной в хижине, а если захочет что-нибудь сказать — пусть тоже пишет на бумажке. Если пойдут дети, мы их от всех

спрячем. Купим много книжек и сами выучим их читать и писать.

Я просто загорелся, честное слово. Конечно, глупо было выдумывать, что я притворюсь глухонемым, но мне все равно нравилось представлять себе, как это будет. И я твердо решил уехать на Запад. Надо было только попрощаться с Фиби. Я вскочил и понесся как сумасшедший через улицу — чуть не попал под машину, если говорить правду, — и прямо в писчебумажный магазин, где купил блокнот и карандаш. Я решил, что напишу ей записку, где нам с ней встретиться, чтобы я мог с ней проститься и отдать ей подарочные деньги, отнесу эту записку в школу, а там попрошу кого-нибудь из канцелярии передать Фиби. Но пока что я сунул блокнот и карандаш в карман и почти бегом побежал к ее школе — слишком я волновался, чтобы написать записку в магазине. Шел я ужасно быстро: надо было успеть передать ей записку, пока она не ушла домой на завтрак, а времени оставалось совсем мало.

Школу я знал хорошо, потому что сам туда бегал, когда был маленьким. Войдя во двор, я почувствовал себя как-то странно. Я не думал, что помню, как все было, но, оказывается, я все помнил. Все осталось совершенно таким, как при мне. Тот же огромный гимнастический зал внизу, где всегда было темновато, те же проволочные сетки на фонарях, чтоб не разбить мячом. На полу — те же белые круги — для всяких игр. И те же баскетбольные кольца без сеток — только доска и кольцо.

Нигде никого не было — наверно, потому, что шли занятия и большая перемена еще не начиналась. Я только увидел одного малыша — цветного мальчу-

гана, он бежал в уборную. У него из кармана торчал деревянный номерок, нам тоже выдавали такие в доказательство, что нам разрешили выйти из класса.

Я все еще потел, но уже не так сильно. Вышел на лестницу, сел на нижнюю ступеньку и достал блокнот и карандаш. Лестница пахла совершенно так же, как при мне. Как будто кто-то там намочил. В начальных школах лестницы всегда так пахнут. Словом, я сел и написал записку:

«Милая Фиби!

Не могу ждать до среды, поэтому сегодня же вечером начну пробираться на Запад. Жди меня в музее, у входа, в четверть первого, если сможешь, и я отдам тебе твои подарочные деньги. Истратил я совсем мало.

Целую. *Холден*».

Музей был совсем рядом со школой, ей все равно надо было идти мимо после завтрака, и я знал, что она меня встретит.

Я поднялся по лестнице в канцелярию директора, чтобы попросить отнести мою записку сестренке в класс. Я сложил листок в десять раз, чтобы никто не прочитал. В этих чертовых школах никому доверять нельзя. Но я знал, что записку от брата ей передадут непременно.

Когда я подымался по лестнице, меня опять начало мутить, но потом обошлось. Я только присел на минутку и почувствовал себя лучше. Но тут я увидел одну штуку, которая меня взбесила. Кто-то написал на стене похабщину. Я просто взбесился от злости. Только представить себе, как Фиби и другие малыши

увидят и начнут спрашивать, что это такое, а какой-нибудь грязный мальчишка им начнет объяснять — да еще по-дурацки, — что это значит, и они начнут думать о таких вещах и расстраиваться. Я готов был убить того, кто это написал. Я представил себе, что какой-нибудь мерзавец, развратник залез в школу поздно ночью за нуждой, а потом написал на стене эти слова. И вообразил, как я его ловлю на месте преступления и бью головой о каменную лестницу, пока он не издохнет, обливаясь кровью. Но я подумал, что не хватит у меня на это смелости. Я себя знаю. И от этого мне стало еще хуже на душе. По правде говоря, у меня даже не хватало смелости стереть эту гадость. Я испугался — а вдруг кто-нибудь из учителей увидит, как я стираю надпись, и подумает, что это я написал. Но потом я все-таки стер. Стер и пошел в канцелярию директора.

Директора нигде не было, но за машинкой сидела старушка лет под сто. Я сказал, что я брат Фиби Колфилд из четвертого «Б» и очень прошу передать ей эту записку. Я сказал, что это очень важно, потому что мама нездорова и не приготовила завтрак для Фиби и что я должен встретить Фиби и накормить ее завтраком в закусочной. Старушка оказалась очень милая. Она взяла у меня записку, позвала какую-то женщину из соседней комнаты, и та пошла отдавать записку Фиби. Потом мы с этой столетней старушкой немножко поговорили. Она была очень приветливая, и я ей рассказал, что в эту школу ходили мы все — и я, и мои братья. Она спросила, где я теперь учусь, и я сказал — в Пэнси, и она сказала, что Пэнси — очень хорошая школа. Если б я даже хотел вправить ей мозги, у меня духу не хватило бы. Хочет думать, что Пэн-

си хорошая школа, пусть думает. Глупо внушать новые мысли человеку, когда ему скоро стукнет сто лет. Да они этого и не любят. Потом я попрощался и ушел. Она завопила мне вдогонку: «Счастливого пути!» — совершенно как старик Спенсер, когда я уезжал из Пэнси. Господи, до чего я ненавижу эту привычку — вопить вдогонку «счастливого пути». У меня от этого настроение портится.

Спустился я по другой лестнице и опять увидел на стенке похабщину. Попробовал было стереть, но на этот раз слова были нацарапаны ножом или еще чем-то острым. Никак не стереть. Да и бесполезно. Будь у человека хоть миллион лет в распоряжении, все равно ему не стереть всю похабщину со всех стен на свете. Невозможное дело.

Я посмотрел на часы в гимнастическом зале, было всего без двадцати двенадцать, ждать до перемены оставалось долго. Но я все-таки пошел прямо в музей. Все равно больше идти было некуда. Я подумал, не звякнуть ли Джейн Галлахер из автомата, перед тем как податься на Запад, но настроения не было. Да я и не был уверен, что она уже приехала домой на каникулы. Я зашел в музей и стал там ждать.

Пока я ждал Фиби у самого входа в музей, подошли двое ребятишек и спросили меня, не знаю ли я, где мумии. У того мальчишки, который спрашивал, штаны были расстегнуты. Я ему велел застегнуться. И он стал застегиваться прямо передо мной, не стесняясь, даже не зашел за колонну или за угол. Умора. Я, наверно, расхохотался бы, но побоялся, что меня опять начнет мутить, и сдержался.

— Где эти мумии, а? — повторил мальчишка. — Вы знаете, где они?

Я решил их поддразнить.

— Мумии? — спрашиваю. — А что это такое?

— Ну, сами знаете. Мумии, мертвяки. Их еще хоронят в пираминах.

В пираминах! Вот умора. Это он про пирамиды.

— А почему вы не в школе, ребята? — спрашиваю.

— Нет занятий, — говорит тот, что все время разговаривал. Я видел, что он врет, подлец. Но мне все равно нечего было делать до прихода Фиби, и я повел их туда, где лежали мумии. Раньше я точно знал, где они лежат, только я тут лет сто не был.

— А вам интересно посмотреть мумии? — спрашиваю.

— Ага.

— А твой приятель немой, что ли?

— Он мне не приятель, он мой братишка.

— Разве он не умеет говорить? — спрашиваю я. — Ты что, говорить не умеешь?

— Умею, — отвечает. — Только не хочу.

Наконец мы нашли вход в галерею, где лежали мумии.

— А вы знаете, как египтяне хоронили своих мертвецов? — спрашиваю я разговорчивого мальчишку.

— Не-е-е...

— А надо бы знать. Это очень интересно. Они закутывали им головы в такие ткани, которые пропитывались особым секретным составом. И тогда можно было их хоронить хоть на тысячу лет, и все равно головы у них не сгнивали. Никто не умел это делать, кроме египтян. Современная наука и то не знает, как это делается.

Чтобы увидеть мумии, надо было пройти по очень узкому переходу, выложенному плитами, взятыми пря-

мо с могилы фараона. Довольно жуткое место, и я видел, что эти два молодца, которых я вел, здорово трусили. Они прижимались ко мне, как котята, а неразговорчивый даже вцепился в мой рукав.

— Пойдем домой, — сказал он вдруг. — Я уже все видел. Пойдем скорее! — Он повернулся и побежал.

— Он трусишка, всего боится! — сказал другой. — Пока! — И тоже побежал за первым.

Я остался один среди могильных плит. Мне тут нравилось — тихо, спокойно. И вдруг я увидел на стене — догадайтесь что? Опять похабщина! Красным карандашом, прямо под стеклянной витриной, на камне.

В этом-то и все несчастье. Нельзя найти спокойное, тихое место — нет его на свете. Иногда подумаешь — а может, есть, но, пока ты туда доберешься, кто-нибудь прокрадется перед тобой и напишет похабщину прямо перед твоим носом. Проверьте сами. Мне иногда кажется — вот я умру, попаду на кладбище, поставят надо мной памятник, напишут «Холден Колфилд», и год рождения, и год смерти, а под всем этим кто-нибудь нацарапает похабщину. Уверен, что так оно и будет.

Я вышел из зала, где лежали мумии, и пошел в уборную. У меня началось расстройство, если уж говорить всю правду. Но этого я не испугался, а испугался другого. Когда я выходил из уборной, у самой двери я вдруг потерял сознание. Счастье еще, что я удачно упал. Мог разбить себе голову об пол, но просто грохнулся на бок. Странное это ощущение. Но после обморока я как-то почувствовал себя лучше. Рука, правда, болела, но не так кружилась голова.

Было уже десять минут первого, и я пошел к выходу и стал ждать мою Фиби. Я подумал, может, я

вижусь с ней в последний раз. И вообще никого из родных больше не увижу. То есть, конечно, когда-нибудь я с ними, наверно, увижусь, но только не скоро. Может быть, я приеду домой, когда мне будет лет тридцать пять, если кто-нибудь из них вдруг заболеет и захочет меня повидать перед смертью, это единственное, из-за чего я еще смогу бросить свою хижину и вернуться домой. Я даже представил себе, как я вернусь. Знаю, мама начнет ужасно волноваться, и плакать, и просить меня остаться дома и не возвращаться к себе в хижину, но я все-таки уеду. Я буду держаться неприступно, как дьявол. Успокою мать, отойду в другой конец комнаты, выну портсигар и закурю с ледяным спокойствием. Я их приглашу навещать меня, если им захочется, но настаивать не буду. Но я обязательно устрою, чтобы Фиби приезжала ко мне гостить на лето, и на Рождество, и на пасхальные каникулы. Д. Б. тоже пускай приезжает, пусть живет у меня, когда ему понадобится тихий, спокойный угол для работы. Но никаких сценариев в моей хижине я писать не позволю, только рассказы и книги. У меня будет такое правило — никакой липы в моем доме не допускать. А чуть кто попробует разводить липу, пусть лучше сразу уезжает.

Вдруг я посмотрел на часы в гардеробной и увидел, что уже без двадцати пяти час. Я перепугался — вдруг старушка из канцелярии велела той, другой, женщине не передавать Фиби записку. Я испугался, а вдруг она велела сжечь мою записку или выкинуть. Здорово перепугался. Мне очень хотелось повидать сестренку, перед тем как уехать бог знает куда. А тут еще у меня были ее деньги.

И вдруг я ее увидел. Увидел через стеклянную дверь. А заметил я ее потому, что на ней была моя дикая охотничья шапка — ее за десять миль видно, эту шапку.

Я вышел на улицу и стал спускаться по каменной лестнице навстречу Фиби. Одного я не понимал — зачем она тащит огромный чемодан. Она как раз переходила Пятую авеню и тащила за собой громадный нелепый чемодан. Еле-еле тащила. Когда я подошел ближе, я понял, что это мой старый чемодан, он у меня был еще в Хуттонской школе. Я никак не мог понять, на кой черт он ей понадобился.

— Ау! — сказала она, подойдя поближе. Она совсем запыхалась от этого дурацкого чемодана.

— Я думал, ты уже не придешь, — говорю я. — А на кой черт ты притащила чемодан? Мне ничего не надо. Я еду налегке. Даже с хранения чемоданы не возьму. Чего ты туда напихала?

Она поставила чемодан.

— Мои вещи, — говорит. — Я еду с тобой. Можно, да? Возьмешь меня?

— Что? — Я чуть не упал, когда она это сказала. Честное слово, у меня голова пошла кругом, вот-вот упаду в обморок.

— Я все стащила по черной лестнице, чтобы Чарлина не увидела. Он не тяжелый. В нем только два платья, туфли, белье, носки и всякие мелочи. Ты попробуй подыми. Он совсем легкий, ну подыми... Можно мне с тобой, Холден? Можно, да? Пожалуйста, можно мне с тобой?

— Нет, нельзя. Замолчи!

Я чувствовал, что сейчас упаду замертво. Я вовсе не хотел кричать: «Замолчи!», но мне казалось, что я сейчас потеряю сознание.

— Почему нельзя? Пожалуйста, возьми меня с собой... Ну, Холден, пожалуйста! Я не буду мешать — я только поеду с тобой, и все! Если хочешь, я и платьев не возьму, только захвачу...

— Ничего ты не захватишь. И не поедешь. Я еду один. Замолчи!

— Ну, Холден, пожалуйста! Я буду очень, очень, очень — ты даже не заметишь...

— Никуда ты не поедешь. Замолчи, слышишь! Отдай чемодан.

Я взял у нее чемодан. Ужасно хотелось ее отшлепать. Еще минута — и я бы ее шлепнул. Серьезно говорю.

Но тут она расплакалась.

— А я-то думал, что ты собираешься играть в спектакле. Я думал, что ты собираешься играть Бенедикта Арнольда в этой пьесе, — говорю я. Голос у меня стал злой, противный. — Что же ты затеяла, а? Не хочешь играть в спектакле, что ли?

Тут она еще сильнее заплакала, и я даже обрадовался. Вдруг мне захотелось, чтобы она все глаза себе выплакала. Я был ужасно зол на нее. По-моему, я был на нее так зол за то, что она готова была отказаться от роли в спектакле и уехать со мной.

— Идем, — говорю. Я опять стал подниматься по лестнице в музей. Я решил, что сдам в гардероб этот дурацкий чемодан, который она притащила, а в три часа, на обратном пути из школы, она его заберет. Я знал, что в школу его взять нельзя. — Ну, идем, — говорю.

Но она не пошла в музей. Не захотела идти со мной. Я пошел один, сдал чемодан в гардероб и опять спустился на улицу. Она все еще стояла на тротуаре,

но, когда я подошел, она повернулась ко мне спиной. Это она умеет. Повернется к тебе спиной, и все.

— Никуда я не поеду. Я передумал. Перестань реветь, слышишь? — Глупо было так говорить, потому что она уже не ревела. Но я все-таки сказал «Перестань реветь!» на всякий случай. — Ну, пойдем. Я тебя отведу в школу. Пойдем скорее. Ты опоздаешь.

Она мне даже не ответила. Я попытался было взять ее за руку, но она ее выдернула. И все время отворачивалась от меня.

— Ты позавтракала? — спрашиваю. — Ты уже завтракала?

Не желает отвечать. И вдруг сняла мою охотничью шапку и швырнула ее мне чуть ли не в лицо. А сама опять отвернулась. Мне стало смешно, я промолчал. Только поднял шапку и сунул в карман.

— Ладно, пойдем. Я тебя провожу до школы.

— Я в школу больше не пойду.

Что я ей мог сказать на это? Постоял, помолчал, потом говорю:

— Нет, в школу ты обязательно должна пойти. Ты же хочешь играть в этом спектакле, правда? Хочешь быть Бенедиктом Арнольдом?

— Нет.

— Неправда, хочешь. Еще как хочешь! Ну, перестань, пойдем! Во-первых, я никуда не уезжаю. Я тебе правду говорю. Я вернусь домой. Только провожу тебя в школу — и сразу пойду домой. Сначала пойду на вокзал, заберу чемоданы, а потом поеду прямо...

— А я тебе говорю — в школу я больше не пойду. Можешь делать все, что тебе угодно, а я в школу ходить не буду. И вообще заткнись!

Первый раз в жизни она мне сказала «заткнись». Грубо, просто страшно. Страшно было слушать. Хуже, чем услышать площадную брань. И не смотрит в мою сторону, а как только я попытался тронуть ее за плечо, взять за руку, она вырвалась.

— Послушай, хочешь погулять? — спрашиваю. — Хочешь пройтись со мной в зоопарк? Если я тебе позволю сегодня больше не ходить в школу и возьму тебя в зоопарк, перестанешь дурить? — Не отвечает, а я повторяю свое: — Если я позволю тебе пропустить вечерние занятия и возьму погулять, ты перестанешь выкамаривать? Будешь умницей, пойдешь завтра в школу?

— Захочу — пойду, не захочу — не пойду! — говорит и вдруг бросилась на ту сторону, даже не посмотрела, идут машины или нет. Иногда она просто с ума сходит.

Однако я за ней не пошел. Я знал, что она-то за мной пойдет как миленькая, и потихоньку направился к зоопарку по одной стороне улицы, а она пошла туда же, только по другой стороне. Делает вид, что не глядит в мою сторону, а сама косится сердитым глазом, смотрит, куда я иду. Так мы и шли всю дорогу до зоосада. Я только беспокоился, когда проезжал двухэтажный автобус, потому что он заслонял ту сторону и я не видел, куда ее понесло.

Но когда мы подошли к зоопарку, я ей крикнул:

— Эй, Фиби! Я иду в зоосад! Иди сюда!

Она и не взглянула на меня, но я догадался, что она услышала: когда я стал спускаться по ступенькам в зоопарк, я повернулся и увидел, как она переходит улицу и тоже идет за мной.

Народу в зоопарке было мало, погода скверная, но вокруг бассейна, где плавали морские львы, собралась кучка зрителей. Я прошел было мимо, но моя Фиби остановилась и стала смотреть, как морских львов кормят — им туда швыряли рыбу, — и я тоже вернулся. Я подумал, сейчас я к ней подойду, и все такое. Подошел, стал у нее за спиной и положил ей руки на плечи, но она присела и выскользнула из-под моих рук — она тебя так оборвет, если захочет! Смотрит, как кормят морских львов, а я стою сзади. Но руки ей на плечи класть не стал, вообще не трогал ее, боялся — вдруг она от меня удерет. Странные они, эти ребята. С ними надо быть начеку. Идти рядом со мной она не захотела — мы уже отошли от бассейна, — но все-таки шла неподалеку. Держится одной стороны дорожки, а я — другой. Тоже не особенно приятно, но уж лучше, чем идти за милю друг от друга, как раньше. Пошли посмотреть медведей на маленькой горке, но там смотреть было нечего. Только один медведь вылез — белый, полярный. А другой, бурый, забрался в свою дурацкую берлогу и не выходил. Рядом со мной стоял мальчишка в ковбойской шляпе по самые уши и все время повторял:

— Пап, заставь его выйти! Пап, заставь его!

Я смотрел на Фиби, но она даже не засмеялась. Знаете, как ребята обижаются. Они даже смеяться не станут, ни в какую.

От медведей мы пошли к выходу, перешли через уличку в зоопарке, потом вышли через маленький тоннель, где всегда воняет. Через него проходят к каруселям. Моя Фиби все еще не разговаривала, но уже шла совсем рядом со мной. Я взялся было за хлястик у нее на пальто, но она не позволила.

— Убери, пожалуйста, руки! — говорит. Все еще дулась на меня. Но мы все ближе и ближе подходили к каруселям, и уже было слышно, как играет эта музыка, — там всегда играли «О Мэри!». Они эту песню играли уже лет пятьдесят назад, когда я был маленьким. Это самое лучшее в каруселях — музыка всегда одна и та же.

— А я думала, карусель зимой закрыта! — говорит вдруг Фиби. В первый раз со мной заговорила. Наверно, забыла, что обиделась.

— Должно быть, потому, что скоро Рождество, — говорю.

Она ничего не ответила. Вспомнила, наверно, что обиделась на меня.

— Хочешь прокатиться? — спрашиваю. Я знаю, что ей очень хочется. Когда она была совсем кроха и мы с Алли и с Д. Б. водили ее в парк, она с ума сходила по каруселям. Бывало, никак ее не оттащишь.

— Я уже большая, — говорит. Я думал, она не ответит, но она ответила.

— Глупости! Садись! Я тебя подожду! Ступай! — сказал я. Мы уже подошли к самым каруселям. На них каталось несколько ребят, совсем маленьких, а родители сидели на скамейке и ждали. Я подошел к окошечку, где продавались билеты, и купил своей Фиби билетик. Купил и отдал ей. Она уже стояла совсем рядом со мной. — Вот, — говорю, — нет, погоди минутку, забери-ка свои подарочные деньги, все забирай! — Хотел отдать ей все деньги.

— Нет, ты их держи. Ты их держи у себя, — говорит и вдруг добавляет: — Пожалуйста! Прошу тебя!

Как-то неловко, когда тебя так просят, особенно когда это твоя собственная сестренка. Я даже расстроился. Но деньги пришлось сунуть в карман.

— А ты будешь кататься? — спросила она и посмотрела на меня как-то чудно. Видно было, что она уже совсем не сердится.

— Может быть, в следующий раз. Сначала на тебя посмотрю. Билет у тебя?

— Да.

— Ну, ступай, а я посижу тут, на скамейке, посмотрю на тебя.

Я сел на скамейку, а она подошла к карусели. Обошла все кругом. То есть она сначала обошла всю карусель кругом. Потом выбрала самую большую лошадь — потрепанную такую, старую, грязно-бурую. Тут карусель закружилась, и я увидел, как она поехала. С ней ехало еще несколько ребятишек — штук пять-шесть, а музыка играла «Дым застилает глаза». Весело так играла, забавно. И все ребята старались поймать золотое кольцо, и моя Фиби тоже, я даже испугался — вдруг упадет с этой дурацкой лошади, но нельзя было ничего ни сказать, ни сделать. С ребятами всегда так: если уж они решили поймать золотое кольцо, не надо им мешать. Упадут так упадут, но говорить им под руку никогда не надо.

Когда круг кончился, она слезла с лошади и подошла ко мне.

— Теперь ты прокатись! — говорит.

— Нет, я лучше посмотрю на тебя, — говорю. Я ей дал еще немножко из ее денег. — Пойди возьми еще билет.

Она взяла деньги.

— Я на тебя больше не сержусь, — говорит.

— Вижу. Беги — сейчас завертится!

И вдруг она меня поцеловала. Потом вытянула ладонь.

— Дождь! Сейчас пойдет дождь!

— Вижу.

Знаете, что она тут сделала, — я чуть не сдох! Залезла ко мне в карман, вытащила красную охотничью шапку и нахлобучила мне на голову.

— А ты разве не наденешь? — спрашиваю.

— Сначала ты ее поноси! — говорит.

— Ладно. Ну, беги, а то пропустишь круг. И лошадь твою займут.

Но она не отходила от меня.

— Ты мне правду говорил? Ты на самом деле никуда не уедешь? Ты на самом деле вернешься домой?

— Да, — сказал я. И не соврал: на самом деле вернулся домой. — Ну, скорее же! — говорю. — Сейчас начнется!

Она побежала, купила билет и в последнюю секунду вернулась к карусели. И опять обежала все кругом, пока не нашла свою прежнюю лошадь. Села на нее, помахала мне, и я ей тоже помахал.

И тут начало лить как сто чертей. Форменный ливень, клянусь богом. Все матери и бабушки, — словом, все, кто там был, встали под самую крышу карусели, чтобы не промокнуть насквозь, а я так и остался сидеть на скамейке. Ужасно промок, особенно воротник и брюки. Охотничья шапка еще как-то меня защищала, но все-таки я промок до нитки. А мне было все равно. Я вдруг стал такой счастливый, оттого что Фиби кружилась на карусели. Чуть не ревел от счастья, если уж говорить правду. Сам не понимаю почему. До того она была милая, до того весело кружилась в своем синем пальтишке. Жалко, что вы ее не видели, ей-богу!

Вот и все, больше я ничего рассказывать не стану. Конечно, я бы мог рассказать, что было дома, и как я заболел, и в какую школу меня собираются отдать с осени, когда выпишут отсюда, но не стоит об этом говорить. Неохота, честное слово. Неинтересно.

Многие люди, особенно этот психоаналитик, который бывает тут в санатории, меня спрашивают, буду ли я стараться, когда поступлю осенью в школу. По-моему, это удивительно глупый вопрос. Откуда человеку заранее знать, что он будет делать? Ничего нельзя знать заранее! Мне кажется, что буду, но почем я знаю? И спрашивать глупо, честное слово!

Д. Б. не такой, как все, но он тоже задает разные вопросы. В субботу он приезжал ко мне с этой англичаночкой, которая будет сниматься в его картине. Ломается она здорово, но зато красивая. И вот когда она ушла в дамскую комнату в другом конце коридора, Д. Б. меня спросил, что же я думаю про то, что случилось, про то, о чем я вам рассказывал. Я совершенно не знал, как ему ответить. По правде говоря, я и сам не знаю, что думать. Жаль, что я многим про это разболтал. Знаю только, что мне как-то не хватает тех, о ком я рассказывал. Например, Стрэдлейтера или даже этого Экли. Иногда кажется, что этого подлеца Мориса и то не хватает. Странная штука. И вы лучше тоже никому ничего не рассказывайте. А то расскажете про всех — и вам без них станет скучно.

Литературно-художественное издание

Сэлинджер Джером Д.
**Над пропастью во ржи**
*Повесть*

Художественный редактор О.Н. Адаскина
Компьютерная верстка: В.А. Смехов
Технический редактор О.В. Панкрашина
Младший редактор Е.А. Лазарева

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.000577.02.04 от 03.02.2004 г.

ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 28
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ОАО «ЛЮКС»
396200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. К. Маркса, д. 9

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО "Типография ИПО профсоюзов Профиздат"
109044, Москва, Крутицкий вал, 18

# Джером Д.
# СЭЛИНДЖЕР

*Джером Д. Сэлинджер – самый знаменитый из представителей «нью-йоркской» литературной школы 40 – 60-х гг. XX столетия. Проза его, нервная и угловатая, замыкает читателя в неподражаемый оригинальный мир – мир, в котором образный ряд переплетен с рядом эмоциональным столь тесно, что различить их практически невозможно. Человек одинок среди людей – одинок именно в своей уникальности, «единичности», «необычности» – такова основная тема АБСОЛЮТНО ВСЕХ произведений Сэлинджера и его главной книги – «Над пропастью во ржи».*

## Над пропастью во ржи

*повесть*

*Это книга, без которой американская проза не стала бы такой, какой стала, а понятия «молодежная проза», наверное, просто не существовало бы.*

*Это книга, считавшаяся буквально «литературной Библией» для многих поколений людей, не принявших уютный конформизм «общества потребления».*

*Это книга, которая сейчас может показаться в чем-то даже наивной, но когда-то не просто ставшая сенсацией и вызвавшая бурю разноречивых эмоций, но и ОФИЦИАЛЬНО ЗАПРЕЩЕННАЯ ЦЕНЗУРОЙ.*

*Это великая и нестареющая книга. Это – «Над пропастью во ржи». Без комментариев...*


ISBN 5-17-024127-5
9 785170 241279